СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІИ МИХАИЛА СИВАЧЕВА.

T. 38.74. 5.30/2

M.

"MFOKFYCTOBO "MOKE"

(ЗАПИСКИ ЛИТЕРАТУРНАГО МАКАРА).

KHULA BIOPAS

К-ВО «СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ»

михаилъ сивачевъ.

собраніе сочиненій.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ". МОСКВА—1911.

МИХАИЛЪ СИВАЧЕВЪ.

"ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ":

(Записки литературнаго Макара).

книга вторая.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ". МОСКВА—1911.

Того же автора:

Т. І. ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ. Книга первая Ц. 1 руб.

(Записки янтературнаго Макара).

Дорогой памяти покойной жены посвящаю эту скореную книгу.

Михаиль Сиваговь.

1906 годъ.

О, эта мучительная, неотступная тоска: видъть себя и другихъ все болъе лучшими, все болъе совершенными вт невидимомъ зеркалъ!

Я оглядываюсь на тотъ путь, который я прошелъ во имя этой тоски—и никнетъ голова, стынетъ сердце.

Рвись со свътлымъ лицомъ изъ потемокъ жизни къ огонькамъ жизни—тебя отбросятъ назадъ, туда, гдѣ мракъ одиночества, холодъ отчужденія.

Если тебѣ дано самоотверженно любить—тебя научатъ изступленно ненавидѣть.

Такъ я чувствую жизнь. И съ этой мѣркой иду... Куда? Посмотримъ!

Вновь я встрѣчаюсь съ батюшкой уже въ роли редактора газеты «Правда Господня».

Когда я натолкнулся впервые на эту газету и узналъ, кто ея руководитель, я горько усмѣхнулся: — Куда ужъ намъ до «Правды Господней», когда мы забыли человъческую.

И вэть, переживая дикую боль расплаты за потрясенную до основъ въру въ человъка, за любовь къ нему—въ это время нужда погнала сеня къ батюшкъ, – къ тому, кто первый подарилъ мнъ ядовитую мысль, что и на солнцъ есть пятна!

Принесъ я ему небольшой разсказъ.

Приняль онъ меня холодно: должно быть такія письма, какъ мои, не забываются! Здѣсь же просмотрѣлъ разсказъ—и поразился:

— Я не понимаю, что съ вами. Раньше въ вашихъ вещахъ были искорки — теперь нѣтъ. Эту вещь я не могу взять для «Правды Господней». Тутъ Богъ знаетъ что... Рабочій хоронитъ свою жену и на поминкахъ устраиваетъ оргію...

Помолчалъ.

— Правда: написано ярко. Техническіе успѣхи вы сдѣлали значительные. Теперь, вотъ я понимаю: въ вашихъ раннихъ вещахъ не хватало этой технической стороны. Стиль у васъ теперь ровенъ, обработанъ; я радъ, что съ внѣшней стороны вы такъ шагнули впередъ... Но какой для читателя примѣръ? Не могу взять.

Это «радъ» — подняло во мнѣ волну холодной злобы и отвращенія. Онъ радъ, когда то, чему онъ радуется, за него сдѣлали другіе: Горькій немного мнѣ сдѣлалъ указаній въ томъ, какъ пужно писать, —но вст его указанія были ясны, значительны, и наглядны: читая мои разсказы, онъ далаль замачанія о дефектахъ на поляхъ рукописи.

Просто и дѣльно. А батюшка находиль, что это трудно, что для этого почему то нужно читать мои вещи вмѣстѣ; обѣщаль для этого «свободный денекъ»—и забыль.

Я взяль свой злополучный разсказъ и сказаль, что принесу другой.

Пришель домой, съ восьми часовъ вечера засѣль за новый разсказъ и къ тремъ ночи его кончилъ. А на другой день около 12 дня собираюсь нести его къ батюшкѣ.

Жена успъла разсказъ прочесть и посовътовала:

— A не пройдешься ли по нему еще разокъ? Такъ, хоть, слегка?

Я засмъялся.

 Думаю, что съ удовольствіемъ скущаєть и въ такомъ видѣ. Для кого, а для этого господина знаю, что писать.

И понесъ. И не ошибся. Батюшка прежде заглянулъ въ разсказъ мелькомъ, но потомъ должно быть, уловилъ что нибудь особенно цѣн-ное въ его духѣ—началъ читать сначала, а когда кончилъ—весь расцвѣлъ:

— Вотъ это разсказъ! Это я понимаю. Здѣсь я узнаю васъ; но здѣсь вы много сильнѣе, чѣмъ писали на первыхъ порахъ.

Я холодно улыбнулся: уже не быль тымь напвнымъ ребенкомъ, какимъ быль на первых порахъ!

Слава Богу: сдѣлали настолько взрослымъ, что и похвалы не радуютъ.

Потомъ батюшка спросилъ... нравится ли мнѣ его газета?

Газета мит не нравилась; самымъ талантливымъ лицомъ въ ней былъ батюшка, и я въ нтъсколькихъ словахъ высказалъ свое митніе не о газетт вообще, а объ его послтадней статьт, гдт не понимающимъ простыми словами объяснялось. что такое «платформа», «блокъ», «лозунгъ» и т. д.

Я высказаль, что для народа такія статьи очень цінны.

- Вы думаете?
- Убъжденъ въ этомъ.

Батюшка вдохновился и... горячо заговориль о своихъ планахъ и цѣляхъ. Онъ думаетъ поднять самосознаніе массъ, пробудить въ нихъ сознательную личность, привить уваженіе собственнаго достоинства, дать массамъ правильный взглядъ на ихъ неотъемлемыя права, научить ихъ говорить языкомъ человѣка, а не раба и т. д. въ этомъ родѣ.

Я слушаль и... холодно подаваль реплики. Изръдка. Это своему недавнему учителю-то!

Я слушаль и... горько думаль: «Слова. Все только слова и слова. Куда ужъ намъ до такихъ

изановъ, когда на дѣлѣ—«даны намъ благіе порывы, но совершить ничего не дано!». Встрѣтится намъ уже не личность, а пока еще только половина личности—мы не поднимемъ ее оо личности, а постараемся раздавить и половину ея; куда ужъ намъ до личностей—когда сами далеки отъ таковой...

А онъ говорилъ, говорилъ и поднималъ во мнѣ скверную муть пережитаго.

Я уже молчалъ. Не подавалъ репликъ. Я изо всѣхъ силъ крѣпился, чтобы не сказать:

— Батюшка, на этотъ счетъ помолчать был Было время,—я вамъ писаль письмо, которымъ мягко хотѣлъ напомнить вамъ: «Большой человѣкъ,—маленькій человѣкъ видитъ, что вы падаете и хочетъ, чтобы вы поднялись...» Вы отвѣтили нѣсколько лживыхъ, лицемѣрныхъ строкъ—и больше ничего. Вы не задумались надъ этимъ письмомъ. Должно быть, потому, что «у большихъ людей» черезъ чуръ развивается чувство собственной непогрѣшимости. Помолчать бы объ этомъ батюшка. Во первыхъ потому—къ святому дѣлу надо подходить съ молчаніемъ; во вторыхъ—съ чистыми руками.

Наконецъ, елей батюшки излился; онъ помолчалъ и, вспомнилъ о моей пьесѣ:

— Ахъ, да. Вы миѣ писали про пьесу. Ну, какъ съ постановкой?

И тонъ уже такой: а въдь, не знаю, какова пьеса—а вдругъ и поставитъ!

Я отвѣчаю, что ничего не вышло.

Тонъ перемѣнился: уже сознаніе своей правоты.

— Видите. Я вамъ писалъ, что на постановку трудно разсчитывать. Пьеса—вещь большая.

Я заявилъ:

— Мысль о постановкѣ я не самъ выдумалъ, Даже и пьесы не думалъ писать. На это натолкнулъ меня Горъкій.

Батюшка удивился:

— Вы и съ Горькимъ уже знакомы?

Онъ не спросилъ, какъ и почему я познакомился съ Горькимъ; какимъ образомъ и гдѣ я пережилъ то время, когда онъ уѣхалъ въ Іерусалимъ?

Послѣдній вопросъ неизбѣжно пришель бы въ голову тому человѣку, который знаетъ по себѣ, что значить борьба за кусокъ хлѣба на каждый день.

Онъ удивился, а мнѣ хотълось сказать:

— Нужда и желаніе жить, батюшка, толкають не только на знакомства съ Горькими, но иногда и на встрічу смерти. Роль «человъка—мячика» не легка.

Но мало-ли чего въ жизни нужно говорить, да нельзя говорить. И я ограничился только тъмъ—зло усмъхнулся и бросилъ:

- Да, имѣлъ счастье... познакомиться съ Горькимъ.
 - Ну, вотъ. Теперь я понимаю: почему вашъ

первый разсказъ мнѣ не понравился; въ немъ, оказывается, было вліяніе Горькаго.

Никакого вліянія Горькаго въ разсказѣ не было, но разубѣждать батюшку я не нашелъ возможнымъ: съ людьми, отъ которыхъ зависишь, нельзя не соглашаться!

Истина не совсѣмъ похвальная, но въ томъ, что я выучился понимать такую истину—повиненъ отчасти, вѣдь, и батюшка.

А батюшка продолжалъ:

— Если бы вы не принесли сегодня этого разсказа «Чудо»—я оставался бы при убѣжденіи, когда вотъ теперь узналъ, что вы и съ Горькимъ уже знакомы, что онъ васъ своимъ вліяніемъ испортилъ въ конецъ. Но, оказывается, нѣтъ; у васъ все таки осталось свое. Пусть оно растетъ, развивается. Съ Горькаго примѣра не берите: онъ на босякахъ свернулъ себѣ голову.

Съ острой болью я вылавливаю изъ его рѣчи только одно слово: свое...

Гдѣ оно это мое? Разбили въ дребезги, растоптали и, когда я съ величайшими усиліями стараюсь собрать хоть часть разбитаго и грубо затоптаннаго, мнѣ напоминаютъ, что пусть оно это «мое» растеть, развивается!

Да, батющка, оно растеть, развивается, но во что выростеть и разовьется? О, вы слѣцые фарисеи, сѣющіе плевелы на хорошей нивѣ и, когда плевелы душать ниву— напоминающіе о хорошей нивѣ!

Становилось нестерпимо. Я чувствоваль, что отъ моего лица въетъ ненавистью, опасался, что могу выйти изъ рамокъ самообладанія—и поспъшиль проститься.

- Уже уходите?
- Да. И васъ боюсь отъ работы отрывать,
 да и нездоровится что то.
- Ну, на мой счеть—ничего: уси во сдълать. А нездоровится—другое дъло.

Я тронулся изъ кабинета батюшки, онъ послѣдовалъ за мной и по моимъ шагамъ замѣтилъ:

— Знаете что? Мнѣ кажется, что вы много лучше ходите, чѣмъ раньше. И тверже, и быстрѣе.

Я тихо отвътилъ:

— Да, лучше.

И сжаль зубы крѣпко, — до боли: «И ты хотѣль лечить, да не сдѣлаль; нашелся другой— тѣло подлечиль слегка, а душу покрыль язвами. Черезъ годъ—черезъ два ото подлеченія и слѣда не будеть, а язвы души всю жизнь почувствуешь...»

Я сталь одфвать пальто. Батюшка миф помогь,—но это уже было совсфмъ лишнее, ибо я могъ уже безъ труда одфваться самъ.

Въ Петербургѣ, — отъ ностоянной боли въ плечахъ, отъ напряженій сгибать и разгибать полусведенные въ локтяхъ руки, — одѣваться миѣ было трудно, на тамъ, батюшка, видя однажды это мучительное одъваніе, не помогь миъ, а посматриваль на меня и съ сожальніемъ говориль:

— Плохо ваше здоровье. Очень плохо.

Тамъ было чувство сожальнія, здъсь—мнъ помогли одъться съ чувствомъ уваженія; я чувствоваль это чувство,—то, когда мы видимъ, что человъкъ вдруго оказался настолько выше, насколько мы никогда не ожидали; настолько выше, когда мы чувствуемъ необходимость встать съ нимъ на равную ногу. Я принялъ эту услугу холодно: такую монету души я уже не цънилъ. Послъ «фуфаекъ» трудно чъмъ либо подкупить.

Плохіе мы психологи.

Намъ еще рано говорить «о воспитаніи личности», прежде надо научиться чуткости узнавать личность. Когда я быль личностью—меня били, въ мою психику заглянуть поглубже не постарались. А когда я началь утрачивать цѣнности личности, когда наученный слишкомъ горькимъ опытомъ, какъ тяжело и грубо бьють за истинную вѣру въ человѣка, за любовь къ нему, когда я начинаю подумывать о томъ, какъ бы отрастить себѣ когти и зубы—тогда меня начинаютъ принимать за личность!

Плохіе мы психологи!

На такихъ психологахъ сбывается пророчество Исаін: «Слухомъ услышите — и не уразумъете; и глазами смотръть будете — и не увидите: «нбо огрубъло сердце людей сихъ, и ушами съ

трудомъ слышатъ, и глаза свои сомкнули, да не увидятъ глазами и не услышатъ ушами, и не уразумъютъ сердцемъ...» *)

И гораздо большее удовлетвореніе принесло мнѣ то, что за симъ послѣдовало.

Батюшка, когда я уже переступиль порогь выходной двери, вдругъ спохватился:

— Въ авансахъ подъ причятыя вещи я нестѣсняюсь. Вашъ разсказъ пойдеть дня черезъ три—черезъ четыре. Нужны деньги?

Я попросилъ 25 рублей.

Онъ далъ и, сказалъ еще нѣчто, что пріятно было слышать:

— Въ слѣдующій разъ зайдете — я вамъ открою счетъ въ конторѣ, какъ постоянному сотруднику. Пожалуйста, не стѣсняйтесь, когда будетъ нужда въ деньгахъ. Я радъ, что намъ приходится вмѣстѣ работать!

Такъ я былъ приглашенъ въ сотрудники «Правды Господней».

Что изъ этого выйдетъ — посмотримъ.

Отъ иллюзій я теперь далекъ. Буду принимать только факты.

Прошла недъля.

Я иду къ батюшкѣ вторично. Отдаю ему еще разсказъ, получаю отъ него въ контору газеты распоряженіе, чтобы мнѣ былъ открытъ, какъ

^{»)} Исаія 6, 9—10.

постоянному сотруднику счеть; беру въ конторъ еще 25 рублей.

Про первый принятый разсказъ «Чудо» мы обмѣнялись, какъ говорять, парой словъ:

— Вашъ разсказъ пойдетъ на дняхъ, —предупредительно заявилъ батюшка: — Я еще на той недълъ хотълъ пустить, но забилъ. Теперь передалъ его; черезъ два, три дня его очередь.

Появленіе въ печати моего «Чуда» меня не интересовало; разсказъ въ моихъ глазахъ былъ ничтоженъ. Но изъ вѣжливости надо же было что-нибудь сказать—и я отдѣлался:

— Хорошо. Буду ждать.

Прошло двѣ недѣли, но мой разсказъ не появлялся.

Я не придаю какого либо тревожнаго значенія этому факту, кромѣ предположенія, что задержка одного разскава—задержить и другой. А деньги нужны. Иду къ батюшкѣ утромъ— и не застаю его дома. Откладываю на вечеръ, но къ вечеру у меня лихорадка. Прошу сходить жену. Она идетъ. Часа черезъ два возвращается и... новая манна съ неба!

- Знаешь: у меня работа находится... Я такъ рада. Рада безъ конца!
 - Что такое?

Оказывается, батюшка разговорился съ же-

ной, узналь, что она слушательница высшихъ женскихъ курсовъ и предложилъ: не возьмется ли она для «Правды Господней» давать отчеты о лекціяхъ?

— Я, конечго, за это ухватилась. И завтра же ѣду на лекцію профессора Озерова. Отчеть въ 120—въ 50 строкъ—и за это десять рублей; рубль, кромѣ того, на изрозчика. И это въ одинъ вечеръ! Такіе пустяки работы: на три-четыре часа. И десять рублей! Я безъ конца рада! — Ну, а что съ моимъ разсказомъ?

Восторженное состояніе слетаеть съ жены въ одинъ мигъ. Она помолчала.

— Видишь-ли... Когда я о разсказъ напомнила—батюшка и самъ удивился: почему разсказъ до сихъ поръ не напечатанъ? Попросилъ меня справиться у соредактора. (Отрекомендовалъ мнъ этого соредактора бывшимъ товарищемъ по семинаріи). Я иду. И встръчаю: я о дълъ спрашиваю, а передо мною пошло расшаркиваются!.. Такихъ господъ я не выношу.

Глаза у жены сдѣлались угрюмо-злые. Я представляю себь: какимъ милымъ взглядомъ она встрѣтила попытку г. соредактора «быть любезнымъ съ молодой дамой»—и не могу удержаться отъ улыбки.

Жена улыбку замъчаеть:

- Тебѣ смѣшно?
- Да. И жаль, г. соредактора. Взглядъ у тебя въ такихъ случаяхъ дъйствительно очень

тяжелъ. Но все-таки, чъмъ же дъло-то кончилось?

— Ничьмъ. Не выношу я такихъ «винтовъ». Онъ вдругъ осълся и преднамъренно долго сталъ рыться въ рукописяхъ, а я заявила: «мужъ придетъ справиться о разсказъ самъ». И ушла. Непріятный господинъ! Иди—н убъдишься.

Я на другой день иду.

И убъждаюсь, что г. соредакторъ «изъ бульварныхъ господъ», фатъ изъ тъхъ, на которыхъ даже костюмъ выглядитъ особенно: ярче оттъняетъ единственное достоинство своего хозяина—пошлость! Меня г. соредакторъ принялъ иначе, чъмъ «даму».

 Чѣмъ могу служить? — выбросилъ онъ грубо, басомъ, и высокомѣрно окинулъ меня взглядомъ сверху внизъ.

И крутиль усы. Крутиль тымь увъренно-привычнымь движеніемь руки, которое сразу даеть чувствовать, что рука этого человыка полжизни занята только своими усами. Конечно, къ усамъ такіе господа желають имъють и кое-какіе придатки—и чымь ни больше имь удастся въ этомъ смыслы, тымь болые крутятся усы и, тымь ботые гордаго величія на не величавыхь оть природы физіономіяхь: виышность г. соредактора была типично-семинарская.

Я меданаъ отвътомъ: ужъ слишкомъ великоявиная фигура была передо мной.

Я любовался имъ; любовался до такой степе-

ни-такъ и подмывало этому господину скаэать:

— Слушайте, покажите-ка лучше, какъ вы можете гнуться передъ тѣми, кто можетъ содъйствовать вешимъ житейскимъ успѣхамъ? Бросьте этотъ грубый тонъ, высокомѣрные вэгляды: вѣдь лакейскую душу никакими горлыми масками не прикроете!

Онъ что-то въ моемъ молчанін почувствоваль и еще болже грубо, съ нескрываемыми нотами раздраженія, повторилъ:

— Чамъ могу служить?

Я слегка улыбнулся и изложиль суть дѣла. Онъ мнѣ отвѣтиль снисходительно-самодовольной улыбкой:

— А! Да, да. Разсказъ «Чудо» у меня. Но не знаю, когда онъ пойдетъ въ печать. Матеріалу у насъ много.

Я только что хотъль сказать ему, что напечатаніе разсказа мнѣ объщано давно — но онъменя внезапно остановиль:

 Ахъ, да! Такъ это ваша жена справлямась у меня насчетъ вашего разсказа.

Я подтвердилъ:

— Она.

И тоже внезапно:

— А что?

Онъ вспыхнулъ, посмотрълъ на меня — грозно н недоумъвающе, — и дълано небрежно брос илъ — Да начего. Странный вопросъ! А рука, та рука, которая привыкла всегда спеціализироваться на усахъ и отражать всѣ смѣны внутреннихъ переживаній и настроеній—эта рука вдругъ перемѣнила курсъ и выдала бѣднаго человѣка: то крутилъ и холилъ усъ плавно, съ чувствомъ собственнаго достоинства и немалаго значенія своей особы, какъ и подобаетъ величію, а тутъ вдругъ пальцы руки заерзали по усамъ въ быстрыхъ, смущенно-вороватыхъ движеніяхъ!

Углубленный въ наблюденія, я медленно говорилъ:

— Такъ, значитъ. Это печально. А мнѣ батюшка уже давно обѣщалъ пустить мой разсказъ въ печать.

Опять снисходительно-самодовольная улыбка не только по моему адресу, но уже и по адресу батюшки—и опять перемѣна курса: рука въѣхала въ знающую себѣ цѣну колею.

— Батюшка? Онъ, вообще, мало что знаетъ. Онъ наобъщаетъ Богъ знаетъ что—и все забудетъ. Ко мнѣ обращайтесь, а не къ нему, фактически-то, вѣдь, я здѣсь всѣмъ завѣлую. Батюшкѣ врядъ до своихъ писаній.

Я наклонилъ слегка голову:

- Приму къ свѣдѣнію.

А онъ помолчалъ-и добавилъ:

— Вы не слышали отъ него его излюбленной пословицы «своя болячка къ тълу ближе?»

Что-то гнусное по скрытому презрѣнію и наглости прозвучало въ этомъ вопросѣ—до такой степени гнусное, что я на его вопросъ промолчалъ и... поспъщилъ откланяться.

Онъ меня удостоилъ гордымъ, една замът-

Когда я вернулся домой—жена меня встрътила лаконично:

-Hy?

Я не хотъль высказать женъ, зародившихся во мнѣ опасеній, что отъ этого господина намъ, пожалуй, не поздоровится, и коротко отвътилъ:

- Ты, по моему, не ошиблась,
- И никогда не ошибусь. До болѣзненнаго отврашенія насмотрѣлась на такихъ. Гдѣ на такихъ не натолкнешься? Человѣка рѣдко встрѣтишь, а такіе «винты» на каждомъ шагу. Но товъ театрѣ, на бульварѣ, на улицѣ,— а здѣсь: я поражена, что такіе люди имѣются и въ редакціяхъ! Мнѣ непріятно думать, что встрѣчи съ нимъ окажутся неизбѣжны.

Я попытался отъ такихъ «думъ» ее отвлечь и съ насильственной улыбкой спросилъ:

— Почему непремѣнно «винтъ», а не еще какъ ннбудь?

Жена въ раздумът пояснила:

— Право, не знаю. Но, когда еще я была гимназисткой четвертаго класса и стала замѣчать, что не только за ученицами старшихъ классовъ, но и за нами, дѣвочками, слѣдятъ и пристаютъ однѣ и тѣже рожи—тогда у меня и явилось такое опредъленіе. Да такъ съ тъхъ поръ и осталось.

«Винтъ?» «Правда Господня»—и «винтъ?!»

Посмотримъ, чѣмъ такой «винтъ» проявитъ себя е-це? Безошибочно кажется будетъ: добра отъ него не жди!

Вечеромъ этого же дня жена поъхала на лекпію. А на другой день въ восьмомъ часу утра отчетъ о лекціи потащила къ батюшкѣ. Пошла утомленная, разбитая, ибо проработала надъ отчетомъдо четырехъ утра—а вернулась оживленная, бодрая.

*Я радъ ее видъть въ такомъ состояніи и со смъхомъ встръчаю:

- «Винту» отчетъ передала?
- Ну, нѣтъ. Я его постараюсь избѣгать. Передала батюшкѣ. Просмотрѣлъ и одобрилъ. Разговорились. Такой хорошій человѣкъ! Я, между прочимъ, высказала, что тоже когда нибудь попытаюсь писать; пока, говорю, мало чувствую за собою знанія жизни и людей: подожду и буду всматриваться. А онъ подхватилъ: «Напишите что нибудь и принесите миѣ; если подойдетъ—съ удовольствіемъ напечатаю». Такой онъ хорошій человѣкъ!

Потомъ выкладываетъ десятирублевку на столъ. — A вотъ, и деньги. Не дурно: десять руб-

лей за нѣсколько часовъ? Какъ я благодарна... Такой онъ...

Внезапно жена обрывается и заглядываетъ мнъ въ глаза. Я молчу. Она это молчаніе понимаетъ.

- Ты все не можешь забыть того... Петербурга? Я согласна: забыть совсѣмъ трудно. Но... Мягко жена беретъ мою руку и засматриваетъ мнѣ въ лицо тихимъ примиряющимъ взглядомъ:
- ... давай, родной, учиться смотрѣть на людей полегче: научимся прошать. Тяжело жить и носить въ сердцѣ не только гнѣвъ, ненависть, злобу, но даже и боль воспоминаній. Знаешь, сколько горя, какой ужасъ я пережила и, если бы все это помнила—это меня давно бы раздавило. Научимся, родной, прощать, забывать—легче будетъ жить.

Я молчу. И вижу, какъ мое молчаніе заставляеть страдать жену. Оживленіе, бодрость, эта безгранично-милая и святая благодарность «кътакому хорошему»—все это исчезаеть съ ея лица и замѣняется глубиной скорби.

Велика красота игры лица человѣка, когда оно живетъ счастьемъ, радостью, мужествомъ, наконецъ, мудрымъ презрѣніемъ, но страшно лицо, когда съ него внезапно схлынутъ всѣ краски жизни, когда лицо отражаетъ только однотлубину скорби: душа человѣка все въ силахъ простить, но все тяжкое оставить на ней свой слѣдъ, свою нестираемую память.

И велики въ своемъ страданіи эти поборники

скорби: радость ихъ—радость не за себя, и скорбь нхъ—скорбь за всѣхъ. Они, —то едино-великое, передъ чѣмъ нужно поклониться и каяться, хотя бы ты передъ ними былъ и не виновать: это скорбь Бога! Ибо міръ—міръ вѣчно распятаго въ мірѣ Бога. Эгоизмъ святыхъ, отмежевавшихся отъ зла міра—или безсиліе, или богопротивная вещь.

Кто не съ мечомъ противъ бездушія и безсердечія—тотъ безплодная частица одного огромнаго цълаго «Я». Кто не съ мечомъ—въ томъ значитъ нътъ сознанія отвътственности за все цълое «Я...»

Пытался я жену успокоить:

— Не волнуйся. Ничего... Правда: больно! Нътъ иногда ни злобы, ни ненависти, но больно всегда. Но дай время пережить, перебольть; можетъ быть, все это перемелется и мука будетъ.

И говоря это—я улыбался. Улыбался, но не было еще въ душъ солнца, что въ силахъ буду «перебольть до муки».

Жена горячо пожелала:

— Дай Богъ. Дай Богъ, тебъ этого блага!

Пять дней жена усердно проработала надъ своимъ первымъ разсказомъ.

Кончита его, понесла къ батюшкъ и... вернулась съ пріятными въстями.

— Везеть... Удивительно везеть! Туть же просмотрѣль батюшка разсказъ, сдѣлаль два незначительныхъ указанія, но въ общемъ разсказъ одобриль и даль совѣть писать дальше.

У меня невольная ироническая улыбка.

- Только одобрилъ? Одобрить, въдь, ничего не стоитъ.
- Нѣтъ, зачъмъ же... Разсказъ этоть объщалъ устронть въ журналъ «И» при газетъ «Р. С.»
- Категорически объщалъ?
- И этого нѣтъ. Сказалъ, что попытается устроить въ «И», такъ какъ находитъ, что для «Правды Господней» разсказъ слишкомъ интеллигентенъ. Но если почему либо въ «И» разсказъ не возьмутъ—тогда напечатаетъ у себя.

У меня чувство облегченія; я радъ за батюшку, что наконецъ-то онъ умудряется быть осторожнымъ до того, чтобы не создавать людямъ ложныхъ надеждъ. Подальше отъ категорическихъ объщаній! Такъ лучше: и другому горечи не принесешь и своего вліянія не переоцънишь.

Но такое чувство только на моменть. Всплываеть мое прошлое; опять злыя предчувствія, опять боязнь, что не могь батюшка переродиться за такой короткій срокъ: а вдругь, послѣ всѣхъ благихъ обѣшаній онъ внесеть въ душу жены тоже, что и мнѣ?

Жена показываеть мнѣ двѣ книги—біографін Веніамина Франклина и Авраама Линкольна. — А вотъ и еще работа. Все главное, существенное изъ каждой біографіи я должна выбрать и связать въ 600—700 строкъ. Надъ каждой біографіей 2-3 дня работы—и 30-35 рублей. Недурчо? А черезъ три дня опять лекція! Этакъ мы очень скоро поправимся. Я такъ рада, что намъ теперь не грозятъ голодовки.

Я молчу. Я убиваю радость жены: съ чувствомъ глубоко страдающей матери она тихо припадаеть ко мнѣ и говорить:

— Родной, а ты молчишь? Ты все молчишь: это меня безпокоить. Скажи, что-нибудь. Ну, о чемъ ты думаешь?

О чемъ я думаю?

Я чувствую, что если начать говорить о томъ, что я думаю—я, можетъ быть, наскажу много лишняго, преждевременнаго.

Ядовитая волна прошлаго топитъ меня, душитъ горло до того, что если бы я и захотѣлъ говорить, я спокойно не могъ бы.

И я пишу:

«Родная. Тамъ, гдѣ дѣйствительность гворится людьми, неуясняющими себѣ вполнѣ своихъ дѣйствій и поступковъ, тамъ атмосфера полна жестокихъ разочарованій: скоро создаются иллюзіи и скоро исчезаютъ. Тамъ человѣческая душа—игрушка: чѣмъ ни болѣе въ ней блеска, тѣмъ скорѣе ея грязными и грубыми руками захватаютъ, тѣмъ скорѣе

ее разобьютъ. Первый въ мое сознаніе вложилъ такое понятіе—батюшка. П если онъ съ тобою не поступитъ такъ-же, какъ поступилъ со мной, если на почвѣ его участія къ тебѣ выростутъ не плевелы, а пшеница—я безконечно буду радъ и за тебя и за него. Тогда всѣ недостойныя мысли о немъ я возьму обратно; сочту ихъ заблужденіемъ, неправильной оцѣнкой и т. д. Словомъ, тогда я во всемъ обвиню себя, покаюсь передъ нимъ... А пока... Прости за это «пока, родная»!

Жена прочла и долго думала. А потомъ... горячо засѣла за работу. Я смотрю украдкой на ея лицо и вижу, что ей страстно хочется вѣрить въ то, что съ ней такъ не поступятъ. Страстно хочется вѣрить не за себя, а за меня: тогда заживутъ мои душевныя язвы; она, маленькая женщина, дастъ моей душѣ миръ, вернетъ утраченную вѣру въ людей!

Я смотрю на нее и, съ удвоенной силой переживаю ту боль, которую мнѣ дали прежде батюшка, потомъ Горькій.

Такъ, какъ жена, и я когда-то горячо работалъ, но... облетъли цвъты, догоръли огни!

Пусто и холодно на душѣ. И кажется, что нѣтъ уже того человѣка, нѣтъ того чуда, которыя бы возродили тебя къ тому, чѣмъ ты былъ.

Я смотрю на нее и страстно желаю: не дай Богъ ей пережить этого!

Она работаетъ. Я тоже. Но какая разница! Она работаетъ съ любовью, подобной благоухающем; прекрасному цвътку; я—мнъ нуженъ
большой отдыхъ гдъ-нибудь въ глухомъ углу,
въ тишинъ и уединеніи полей; мнъ необходимы
годъ или два такой жизни, чтобы осмыслить
«смертельный ушибъ», но отдыха нътъ, онъ гдъ
то впереди, можетъ быть, его и совсъмъ не
будетъ,—и я работаю. Работаю тупо, упрямо,
съ тъмъ больнымъ, изступленнымъ напряженіемъ,
которое ведетъ къ еще большому упадку, въ
концъ концовъ—къ безумію. Я сознаю это и
говорю себъ: «Пускай. Пускай будетъ, что будетъ! Выбора нътъ».

Все въ моей душѣ—какъ будто бы груда остывшаго пепла; но копни—и обожжешься: подъ пепломъ скрытъ огонь ненависти.

Это все, что мнѣ дали мои «учителя».

А вотъ и сюрпризы!

То, что подогрѣваетъ мою теперь иную «любовь», къ милому человѣчеству; то, что по временамъ уже прямо кажется: только это одно даетъ мнѣ силу жить!

Иду къ г. соредактору. На мой вопросъ, какъ обстоить дъло съ разсказомъ, который я от-

далъ послѣ перваго, — «Винтъ» мнѣ преподноситъ:

— Я просматриваль этоть разсказъ. Плохая вещь. Не могу его взять.

Я тоже хотъль ему преподнесть:

— Этотъ разсказъ у меня когда-то просматривалъ батюшка и одобрилъ его.

«Винтъ» и глазомъ не моргнулъ:

— То онъ, а это я. Разныя точки зрънія. И гордо закрутиль усъ.

Я нашелъ, что это уже черезъ чуръ.

Забракованная г. соредакторомъ вещь—была разсказомъ «Въ заводѣ». Одобренная, въ мою бытность въ Петербургѣ, батюшкой настолько, что дала ему мысль устроить меня при большой газетѣ постояннымъ сотрудникомъ,—эта же вещь послужила для Горькаго показателемъ, что я человѣкъ не безъ дарованія, эта вещь заставила его принять во миѣ участіе; мало этого— эта вещь была мной передѣлана по указаніямъ Горькаго—(содержаніе осталось тоже, но улучшена виѣшняя сторона, усилены впечатлѣнія, углублены важные штрихи) и вдругъ... заявленіе, что вещь «плохая», заявленіе отъ лица, которое было совершенно невѣдомой величиной въ литературномъ мірѣ *).

^{*)} До поста г. соредактора этотъ госполниъ служиль гдъ-то и чѣмъ-то въ земствѣ; умерла «Правда Господия» - этотъ высокій авторитетъ вмѣсто того, чтобы проявить себя въ литературѣ "хоропими вещами", почему-то

Я нахожу, что «Винть» зарывается уже черезъчурь—и иду къ батюшкѣ. Застаю его за работой. Рѣшаю было отложить объясненія до другого раза, но онъ просить не стѣсняться и высказать въ чемъ дѣло. Между нами происходить слѣдующій діалогъ.

- Г. С... вашъ соредакторъ не принимаетъ у меня того разсказа, который я принесъ вамъ послѣ «Чуда».
 - Почему не принимаетъ?
 - Говоритъ: плохъ.
 - А вы этого не допускаете?
- Шедевромъ я этотъ разсказъ не считаю, но для «Правды Господней» нахожу его под-ходящимъ.
 - Хорошо. Я просмотрю его самъ.
- Г. С... эту вещь вы уже читали. Помните разсказъ «Въ заводъ»?

Батюшка очнулся. До этого онъ говорилъ далекій отъ нашего разговора: думалъ о томъ, надъ чѣмъ работалъ.

Онъ очнулся—удивленно подняль брови.

— Не можеть быть! Какъ же: я не забыль этого разсказа. Хорошо написанъ. Впечатлѣній много. Я даже—не такъ давно вспомниль о немъ и думалъ предложить, чтобы вы его дали намъ.

не сдълаль этого и ушель опять въ земство. Такимъ компетентнымъ лицамъ батюшка даваль неограниченную власть наль судьбой рукописей начинающихъ писателей!

Я подчеркнулъ:

— Вотъ и далъ. И далъ уже въ передъланномъ видъ: выправлены внъшніе дефекты, усилены впечатлънія.

Батюшка очнулся: замѣтилъ мое возбужденное состояніе.

— Ну, ничего. Успокойтесь. Я все это устрою. Странно мой соредакторъ взглянулъ на этотъ разсказъ: къ нашей газетѣ онъ какъ нельзя лучше подходитъ. Успокойтесь. Это недоразумѣніе я постараюсь уладить.

Я пошель домой, но суспокоиться» мнѣ было не легко. Чувствоваль я, что въ заявленіи соредактора, что мой разсказъ «плохъ»—не одно только невѣжество. Въ «Правдѣ Господней», за очень рѣдкими исключеніями, печаталась такая убогая и противная мораль, точно аудиторія этой газеты дѣти оть 5 до 7 лѣтъ; про языкъ и говорить нечего: писали, въ полномъ смыслѣ этого слова, литературно-безграмотные люди.

И ничего. Печатались и печатаются.

Чувствовалъ я, что въ лицѣ соредактора—не одно только невѣжество, но и походъ низкой лушонки противъ меня: вѣдь, пошлость тоже тонко чувствуетъ, когда наталкивается на враговъ, не желающихъ гнуть передъ нею шею.

И никогда этого не прощаетъ!

Въ своихъ истинно-челов вческихъ пожеланіяхъ челов вчество уподоблено: «улита вдетъ».

Но за то низость энергична: она никогда не дремлетъ!

Я написаль статью около 700 строкъ. Матеріаломъ къ этой стать мн послужили письма одного крестьянина, нѣкоего Бѣлянина.

Живетъ Бѣлянинъ въ деревнѣ; въ ней и родился. Земледѣліемъ не занимается. Дѣдъ его былъ портнымъ, отецъ тоже и, его съ дѣтства пріучили къ этому.

Но съ ранняго дѣтства душа къ такому дѣлу не лежала. Работать-работалъ, ибо работать необходимо; съ 20 лѣтъ на его плечахъ не малая осталась обуза: слѣпой отецъ, дряхлая бабушка, жена умершаго брата съ нѣсколькими дѣтями. Позже — женился самъ и своими карапузами Богъ не обижалъ.

Къ 40 лѣтамъ у Бѣлянина въ домѣ до 15 ртовъ. У самаго здоровье незавидное, но держалъ одного-двухъ работниковъ и кое-какъ перебивался.

Бѣлчнинъ приходился родственникомъ моей женѣ: дядя по матери. Отсюда—переписка жены съ Бѣлянинымъ.

Два десятка писемъ. Грамотныхъ писемъ. Глубоко выстраданныхъ: къ несчастью своему этотъ человѣкъ родился съ даромъ изобрѣтателя.

Въ деревенской глуши, въ средѣ осмѣивающей его темноты, онъ въ свободное время отдавалъ «дань-муку» этому дару: работалъ надъ собой.

Одинъ. Самоучкой.

Къ 30 лѣтамъ человѣкъ знакомится съ физикої, математикой, механикой, со знаніемъ чертежныхъ работъ.

Все далось, конечно, со страшнымъ трудомъ, но Бѣлянинъ головы не опускалъ: къ 35 лѣ-тамъ опъ изобрѣтаетъ крайне-упрощенную по конструкціи паровую машину. Къ 35—а только къ 40 ему удается получить привилегію на свое изобрѣтеніе.

Человѣкъ самъ не знаетъ, куда ему обратиться и проситъ объ этомъ помѣщиковъ, земскихъ начальниковъ, предводителей дворянства.

Всѣ обѣщають ему помочь въ получении привилегіи,—но тянутъ время безбожно и, когда привилегія получена—на одно это убито пять лѣтъ! Но ничего. Изобрѣтатель воспрянулъ духомъ: теперь-то онъ найдетъ предпринимателя на эксплоатацію его изобрѣтенія!

Но, увы! Еще пять лѣтъ — и ужасное сознаніе: куда ужъ до того, чтобы оцѣнили человѣка, поошрили трудъ его — не находится и настолько добраго человѣка, который бы взялъ на себя трудъ направить чертежи къ такому лицу, которое могло бы оцѣнить насколько цѣнно или не цѣнно изобрѣтеніе.

Этого нѣтъ. Наоборотъ.

Всюду улыбки ироническія, пожатія плечъ: ну, какой, молъ, изобрѣтатель! Изъ мужиковъ-то?

Письма Бѣлянина раскрывали всю его трагедію. Его медленную и страшную работу; его мытарства, когда шли хлопоты о привилегіи, его поиски предпринимателя и, наконецъ, мучительное признаніе того, что онъ родился не при такихъ условіяхъ, при какихъ бы ему слѣдовало родиться.

Несчастный человѣкъ прозябающій въ глуши, не имѣюшій возможности слѣдить за прогрессомъ техники, изобрѣтающій паровую машину уже въ вѣкъ электричества, изобрѣтающій машину будучи портнымъ по профессіи — этотъ мученикъ своего дара упалъ духомъ и рѣшилъ, что убита вся жизнь на работу Сизифа.

Съ механикой я немного знакомъ и по чертежамъ видѣлъ, что на эксплоатацію его машины есть еще надежда: это поразительно упрощенная конструкція машины—то, что могло давать большую экономію при фабрикаціи ея въ сравненіи съ типомъ существующихъ машинъ.

Геній портного не слѣпо твориль: все, что онъ видѣлъ—это паровыя машины и, изобрѣтая свою—онъ внесъ въ нее усовершенствованія.

Когда я принесь эту статью батюшкѣ, онъ сказаль, что очень занять, что читать ему некогда, и попросиль меня пояснить суть статьи.

Я пояснилъ. Онъ изобрѣтателемъ заинтересовался и далъ слово статью напечатать на дняхъ.

Я заявилъ, что гонорара за эту статью не возьму и, давая адресъ Бѣлянина, попросилъ, чтобы гонораръ былъ отосланъ ему.

Батюшка удивился:

— Почему не хотите гонораръ себъ?

Я отговорился, что мой трудъ на эту статью не великъ: вся статья построена почти на выдержкахъ изъписемъ Бълянина.

— Такъ что же изъ этого? Все таки, вѣдь, вы писали. Выдержки - выдержками, а связать ихъ въ послѣдовательномъ порядкѣ—надъ этимъ надо-же подумать?

Изъ скромности я не высказалъ мысли, что миѣ претитъ пользоваться деньгами, когда я писалъ про несчастье человѣка и, отдѣлался я тѣмъ, что Бѣлянинъ очень бѣденъ и мнѣ бы хотѣлось ему помочь.

Прошла недѣля, а моей статьи о изобрѣтателѣ не появлялось.

О своихъ двухъ разсказахъ я рѣшилъ не спрашивать. Всѣ эти обѣщанія и удивленія о разсказѣ «Чудо»—почему, молъ, онъ до сихъ поръ не печатается, обѣщаніе уладить педоразумпьніе съ разсказомъ «Въ заводѣ»—обо всемъ этомъ я рѣшилъ не заикаться изъ двоякаго чувства: изъ чувства собственнаго достоинства, и изъ чувства—руководитель «Правды Господней» все только еще объщаеть, такъ будемъ выжидать, пока онъ выполнить!

Это тоже мѣрка собственнаго достоинства:

долженъ же онъ знать грань, когда съ объщаніями необходимо считаться!

До выясненія этихъ вопросовъ я рѣшиль въ «Правду Господню» ничего не носить.

Но статья, статья для меня была вещью, въ которой я ни съ какой стороны, кромѣ простого человѣческаго сочувствія, заинтересованъ не быль—и это меня заставило пойдти за справками.

Иду къбатюшкъ около одинадцати утра; мягко освъдомляюсь:

— Г. С... вы просмотръли ту статью? *)

Не напоминаю о томъ, что за это время она уже объщана быть напечатанной.

— Нѣтъ, не читалъ. Я ее передалъ соредактору, а онъ тутъ съ однимъ сотрудникомъ рѣшили пока эту статью въ печать не пускать, до выясненія нѣкоторыхъ вопросовъ о ней. Кстати: этотъ сотрудникъ сейчасъ здѣсь; идемтепереговорите съ нимъ лично.

Изъ кабинета мы переходимъ въ столовую. Пришлось познакомиться съ сотрудникомъ, о которомъ шла рѣчь—г. С.

Былъ тутъ и г. соредакторъ. И, конечно... спеціализировался на своихъ усахъ и, гордо, съ высоты своего величія удостоилъ меня полупрезрительнымъ взглядомъ и... двумя пальцами руки.

^{*)} Когда я сдаваль статью, я къ ней приложиль привилегію и чертежи.

Оказалось, что статья и документы были уже у г. С.

С. началъ передавать, что онъ съ чертежомъ обращался къ какому то извъстному инженеру и послъдній вынесъ заключеніе, что помимо крайне упрощенной конструкціи машины, она въ сравненіи съ типомъ существующихъ машинъ будетъ еще впереди и потому: дасть до 600/0 экономіи въ топливъ.

Батюшку это вдохновило. Онъ горячо заговориль о горькой судьбѣ талантливыхъ самородковъ въ Россіи; г. С. пѣлъ ему въ униссонъ, но... чувствовалось, что этотъ господинъ далекъ отъ того, надъ чѣмъ искренно скорбѣлъ батюшка.

А соредакторъ оставался уже совершенно безучастнымъ, какъ къ Бѣлянину, такъ и ко всѣмъ талантливымъ самородкамъ вообще: вѣрная рука крутила усъ и говорила: «Намъ де—это въ высокой степени все безразлично»!

И хоть бы изъ вѣжливости дѣлалъ видъ, что слушаетъ, какъ проливаются платоническія слезы батюшкой. И этого нѣтъ: пялилъ глаза то на потолокъ, то блуждалъ по стѣнамъ. Ему было скучно!

Я жадно наблюдаль его: «Геній. Страшный геній»!

Страшнаго на физіономіи ничего: самовлюбленное, упитанное рыло, съ тѣмъ тупымъ величіємъ, которое, кромѣ невольнаго презрѣнія и смѣха не вызываетъ ничего.

Но не засмѣешься. Ибо не до смѣха, когда присмотришся къ этому рылу, къ тому, какъ неустанно крутятся усы: вотъ она воплощенная низость и пошлость,—страшный ураганъ, который, если гдѣ пройдетъ, то не оставитъ живого, чистаго: постарается съ корнемъ вырвать!

Ушелъ я успокоенный: батюшка при мнѣ заявилъ соредактору, что съ напечатаніемъ статьи о Бѣлянинѣ слѣдуетъ поспѣшить. И даже взялъ у меня адресъ:

— Я этому изобрѣтателю напишу *).

Г. соредакторъ на то, что «съ напечатаніемъ статьи слѣдуетъ поспѣшить»—молча и небрежно кивнулъ головой, а потомъ... всталъ и ушелъ въ комнату рядомъ со столовой: вѣроятно затѣмъ, чтобы его не отвлекали отъ его высокихъ думъ.

Но... прошла недѣля — статья не появилась. Идти въ третій разъ на объясненіе—выше моихъ силъ: не могъ побороть отвращенія. Я окончательно рѣшаю, что въ «Правдѣ Господней» мнѣ не работать: я тамъ не ко двору!

Буду толкаться въ другія двери—а сюда... Лѣзть съ реабилитаціей, говорить, что тебя затирають—противно.

^{*)} Я потомъ запрашивалъ Бълянина: писалъ-ли ему батюшка? Оказалось: доброе побужденіе батюшки осталось только... добрымъ побужденіемъ.

Но статью о Бѣлянинѣ хочется видѣть напечатанной: можетъ быть, кто нибудь изъ капиталистовъ заинтересуется и дастъ ходъ изобрѣтенію.

Пользуюсь случаемъ: — жена одну изъ своихъ работъ несетъ къ батюшкѣ и прошу ее справиться о статьѣ...

Вернулась жена съ видомъ, по которому я сразу почувствовалъ, что въсти не изъ пріятнихъ.

Помолчалъ и спрашиваю:

- Ну, какъ?
- Ничего.
- Такой отвътъ мнъ тоже ничею не говоритъ.

Помолчала и она. Я это молчаніе принялъ за ея неудачу.

- Взяль твою работу батюшка?
- -- Взялъ.
- Удачна оказалась?
- Ничего. Сдѣлалъ одно небольшое замѣчаніе, а потомъ комплименты. Намѣчаетъ еще рядъ такихъ же работъ для меня.

Я живу по отношенію къ редакціи «Правды Господней» исключительно недобрымъ— и замѣчаю:

- Намѣчать-то намѣчаеть, а когда печатать будеть?
 - Не ранъе весны.
 - Такъ трудно. По моему, ты должна ого-

ворить, чтобы гонораръ тебѣ платился, когда сдашь вещь, а не когда она напечатается.

Жена смущается.

— Не могу дѣлать такихъ оговорокъ. Да и не къ чему: Г. С., мнѣ почти всегда напоминаетъ, чтобы я не стѣснялась, когда нужны деньги.

Я даю совъть выбирать авансами стоимость сдаваемыхъ работъ, но жена и туть не соглашается:

— Не могу. Это какъ то неловко. А потомъ... родной, не сердись: но ты слишкомъ уже становишся подозрителенъ. Это крайность. Крайность унижающая тебя и оскорбляющая Г. С.. Я не допускаю мысли, чтобы мит не заплатили за взятыя отъ меня вещи. Это невозможно! Въдь, не съ кулакомъ дъло имъю? Пойми это. Ты прямо боленъ. Это какая то манія.

Я полуизвиняюсь:

— Ну, прости, родная. Можеть быть, я и неправъ. Но дѣло то воть въ чемъ: твои дѣла пока въ порядкѣ, а ты все-таки почему-то не въ духѣ.

Опять жена помолчала.

— Не за себя, а за тебя. Сходи въ редакцію самъ. Выходить гадость. Когда я спросила Г. С. насчетъ твоей статьи — оказывается, что соредакторъ и г. С. будто бы нашли, что статью въ такомъ видѣ печатать нельзя: форма статьи, будто-бы, не та. И вотъ С. хочетъ передѣлать ее по-своему. Я нахожу, что это уже слишкомъ безцеремонно.

Еще помолчала.

— Говорила батюшкѣ: ознакомились бы вы со статьей сами; можетъ быть, тогда нашли бы, что статья годна и въ такомъ видѣ. Выслушалъ онъ и нахмурился: «Да, конечно, это было бы лучше. Но у меня своя работа. Некогда. Своя болячка къ тѣлу ближе! Должна сознаться, что послѣдняя фраза «о своей болячкѣ» меня какъ то особенно непріятно рѣзанула по сердцу.

Мнѣ сразу припоминается соредакторъ, когда спрашивалъ меня, а не слышалъ ли я отъ батюшки его излюбленной пословицы: «Своя болячка къ тѣлу ближе».

И сразу становится понятнымъ: почему соредакторъ такъ безбоязненно проявляетъ свою «личность» при редакціи «Правды Господней».

Поньлость сокращается и носить маску благородства, насколько она вообще можеть носить такую маску, тамъ, гдѣ она чувствуеть, что ей нельзя развернуться, ибо при всякой такой попыткѣ ей укажуть на дверь; но тамъ, гдѣ она прозрѣваеть, что «Правда Господня» это только миоъ, фикція, что прежде всею «своя болячка къ тѣлу ближе»—тамъ пошлость торжествующе выпускаеть свои когти во всю.

Я немедленно отправился къ батюшкѣ. Мое возбужденное состояніе требовало объясненій не только по поводу статьи, но и объ остальномъ.

Спросить:

Почему не печатается до сихъ поръ разсказъ «Чудо?»; улажено ли недоразумѣніе съ разсказомъ «Въ заводѣ»

Но и туть я сдержался.

Не ребенокъ руководитель «Правды Господней!». Долженъ понимать, что иные вопросы по много разъ не повторяются: о чемъ больно напомнить разъ-два— съ этимъ часто лѣзть не будешь. Да и стоитъ ли вообще напоминать устно? Развѣ мои появленія не напоминаютъ ему о невыполненныхъ передо мною обѣщаніяхъ? Если память плоха,—такъ чуткій человѣкъ по чувствуетъ это инстинктивно.

И я заговориль только по существу статьи. Тонъ мой, несмотря на всѣ мои усилія быть спокойнѣе, звучалъ рѣзко.

— Г. С... я считаю, что вашъ сотрудникъ С... не имѣлъ права распоряжаться моей статьей, какъ ему заблагоразсудится. Это значитъ не имѣть самаго элементарнаго уваженія къ труду другихъ.

Батюшка... онъ улыбнулся!..

- -- Почему вы такъ думаете?
- Потому. Вообразите себѣ. Вы напишите вещь, а кто нибудь, совершенно неизвѣстное вамъ лицо, не предупреждая васъ объ этомъ, находить, что ваша вещь написана не въ той формѣ, какая бы по его мнѣнію должна быть; находить и берется за передѣлку вашей вещи по своему вкусу—безъ вашего вѣдома, не забо-

тясь нисколько о томъ: согласны-ли вы на это? позволяете-ли? Вообразите себъ такую вещь и подумайте: какъ бы вы къ этому отнеслись? *) Батюшка помялся:

— Да... Это, конечно... Не совсѣмъ въ порядкѣ вещей. Но... это еще можно уладить. Статья у С. Идите и переговорите съ нимъ. Вотъ вамъ его адресъ.

Онъ нагнулся надъ столомъ, набрасывая адресъ С., а я смотрѣлъ на него съ болью въ душѣ.

И это главный руководитель газеты съ такимъ названіемъ?! Надъ трудомъ задавленнаго человѣка творятъ возмутительное насиліе, а у руководителя газеты находятся только жалкія слова: «Идите и переговорите съ нимъ». Больше ничего, кромѣ этихъ словъ... Какое убожество духа?!

Беру адресъ и отправляюсь къ С. Застаю у него одного изъ сотрудниковъ «Правды Господней» нѣкоего г. В. Этотъ В. имѣлъ плачевный видъ: одѣтъ въ очень грязный, ватный пиджакъ, на ногахъ огромные опорки изъ теплыхъ сапогъ, общитыхъ кожей. Лицо его—отекшее, съ характерной для алкоголиковъ багровосиней окраской, ясно говорило, что этотъ че-

^{*)} Воть она, читатель, жизнь-то. Въ теоріи батюшка только тѣмъ и занять былъ, что поучалъ читателей своими "проповѣдями", а въ жизни—мнѣ пришлось разжевывать ему такія простыя вещи...

ловѣкъ падаетъ «на дно» жизни, какъ жертва своего порока. *)

С. чувствоваль съ кѣмъ говоритъ... и брезгливо, не предлагая В. даже сѣсть, сквозь зубы цѣдилъ:

 Вещь могла бы пойти, если бы въ ней ни нѣкоторые недостатки.

По игрѣ восточныхъ глазъ В. (типъ его былъ очень близокъ къ типу грека) было видно, что этотъ человѣкъ глубоко знаетъ жизнь, сильно презираетъ людей, но... и умѣетъ обводить ихъ.

На замѣчаніе С. онъ почтительно и униженно наклонилъ голову и, льстиво и покорно просилъ:

— Не будете-ли вы такъ добры, указать миѣ на эти недостатки? Я постарался бы ихъ выправить. Я очень, очень глубоко былъ бы благодаренъ вамъ за это.

С. съ минуту отмалчивался. Очевидно было, что ему непріятно имѣть дѣло съ В., но и В. не лыкомъ шитъ. Онъ не поднималь своей униженно наклоненной головы, глаза его подобосграстно и покорно ловили взглядъ С.—и С. не выдержалъ. Онъ въ послѣдній разъ взглянулъ на фигуру В. — на жалкую-жалкую фигуру — и опять сквозь зубы процѣдилъ:

^{*)} Впослѣдствін я узналь, что В. по своей слабости остоянный аборигенъ Хитрова рынка.

— Хорошо. Зайдите денька черезъ три. Я вамъ сдѣлаю указанія— и оттого, какъ вы ихъ выполните, будетъ зависѣть напечатаніе этой веши. Пока, значитъ, до свиданія.

Не подавая руки, полукивкомъ головы давая понять В., что разговоръ конченъ, С. повернулся ко мнѣ:

— Чамъ могу служить?

Я, наблюдая за В., медлиль отвѣтомъ. В. на слова С. почтительно изогнулся и, сохраняя все тоть же униженный наклонъ головы, двинулся тихо и осторожно къ двери.

И пока онъ былъ въ комнатѣ—фигура его внушала одно чувство: чувство той жалости, когда видишь, какъ завзятый алкоголикъ молча и кротко страдаетъ отъ невозможности опохмѣлиться. Но, когда онъ отворилъ дверь и переступалъ порогъ комнаты на его лицѣ заиграла хитрая-хитрая улыбка восточнаго человѣка, фигура вмигъ преобразилась какимъ то однимъ, невидимымъ, внутреннимъ движеніемъ — раскрылся хитрый, осторожный, озлобленный звѣрь, котораго не всегда можно безнаказанно ударить: если у него имѣется возможность отплатить — больно укуситъ!

В. исчезъ.

Тономъ, что-вотъ-де молъ по человѣколюбію приходится принимать и такихъ господъ, С. бросилъ:

— У человъка есть небольшое дарованьице,

а вотъ гибнетъ. Қажется, безнадежный алкоголикъ. И живетъ чуть-ли не на Хитровкъ.

Я изъ вѣжливости отговорился парой словъ: «Да, печально», — и политично началъ подходить къ сути своего посѣщенія.

— Я, видите ли, пришель поговорить по поводу статьи о Бѣлянинѣ, какъ авторъ этой статьи. Батюшка мнѣ передавалъ, что будто бы форма статьи не та, въ какой бы это слѣдовало написать и, что будто бы вы имѣете намѣреніе передѣлать ее въ надлежащую форму.

С. внимательно на меня взглянулъ; я поситышилъ съ невинно-глуповатымъ видомъ добавить:

Я—начинающій. Пишу, что называется «безъ году недѣлю», и такихъ тонкостей, какъ форма, къ сожалѣнію, еще не постигъ.

На ловца и звѣрь бѣжитъ: г. литераторъ разстегнулся! Почувствовавъ мелкую сошку, онъ спокойно и равнодушно какъ будто бы рѣчь шла о его собственной вещи, заявилъ:

- Вѣрно. Я нахожу, что форма статьи неудовлетворительна. И хочу ее использовать въ иной формъ.
 - А скоро это думаете сдълать?
- Не могу сказать. Вообще, надъ этой вещью мив придется основательно поработать. Вдуматься. Изучить. Я даже рышиль съвздить къ этому Былянину: чтобы хорошенько запечатлыть обстановку, въ которой ему пришлось работать надъ изобрытениемъ.

Я удивился, ибо это для меня было совершено ново:

- А это зачемъ? Похоже на то, какъ будто бы вы цѣлую повѣсть собираетесь писать.
 - Г. С. покровительственно улыбнулся:
- Да, да, молодой человѣкъ, вы угадали: повъсть. Упустить такой сюжеть! А вы думали, какъ большіе писатели работають? Воть учитесь. Эту вещь я думаю использовать листовъ на 8-ми 10 печатныхъ. У васъ сколько писемъ этого Бѣлянина?
 - Десятка два.
- Ага. Доставьте-ка ихъ мнъ. Я вычернаю изъ нихъ побольше, чѣмъ вы. Поняли?

Я поняль и... перемѣнилъ тонъ:

— Какъ авторъ статьи, я, г. С. на это не согласенъ. Я тоже думалъ писать о Бѣлянинъ повъсть, но нашель, что повъсть Бълянину не нужна, а нужна статья съ призывомъ капиталистовъ на эксплоатацію его изобрѣтенія.

«Большой писатель» быль удивлень:

- Вы тоже думали писать повъсть?
- Да, думалъ. Какъ написалъ-бы—худо-ли на чей нибудь взглядъ, не въ той формп,--но писать думалъ.
 - Почему же не написали?
- Потому что не хотѣлъ зарабатывать деньги на несчасть в другого. А если заработать—такъ не раньше, чёмъ сдёлана попытка помочь этому человѣку.

— Да вѣдь, хотѣли же вы заработать на статьѣ—почему же не заработать въ нѣсколько разъ больше на повѣсти?

И смотрѣлъ на меня злорадно-торжествующимъ эзглядомъ: поймалъ, молъ!

Мнѣ стало этого человѣка и жаль и противно: и это литераторъ?!

— Отъ гонорара за статью я отказался: просилъ его отослать въ пользу Бѣлянина. Это можетъ вамъ подтвердить батюшка. А повѣсть... развѣ вы думаете, что беллетристическое произведеніе поможетъ Бѣлянину? По крайней мѣрѣ, я такой необыкновенной формы повѣсти въ литературѣ еще не встрѣчалъ.

По всему было видно, что такого пассажа «большой писатель» не ожидаль. До этого онъ ходиль по комнать, какъ должно быть не ходиль ни одинъ литературный генераль передъмелкой начинающей сошкой: спокоенъ, самоувъренъ, руки назадъ.

А тутъ... круто остановился:

— Такъ выходить, что вы противъ передълки?

Бѣдняга, онъ только теперь это понялъ!

- Да, противъ.
- Гм... Ну, что-жъ...

И долгая пауза. Я ждаль, что же еще онъ скажеть—и въ упоръ разсматриваль его. Впечатлѣніе отъ внѣшности этого господина получалось не въ его пользу.

Низкій лобъ. Жесткіе, торчащіе черные волосы. Общее выраженіе лица и глазъ—маленькихъ, рѣдко смотрящихъ прямо на человѣка,—хитро и холодно, и жадно все для себя высматривающій проходимецъ. И проходимецъ не крупнаго колибра. Хитрованецъ В. проходимецъ много крупнѣе умомъ и человѣкъ въ немъ болѣе чувствовался: если гнется—такъ ужъ очень жизнь гнетъ, и гнется со злобой—значитъ собственное достоинство еще не умерло, а онотарантія того,—что другихъ, страдающихъ, пасынковъ жизни не будетъ гнуть. А тутъ... чувствовалось только гаденькое я: гдѣ нужно—согнется, но на другихъ за себя выместитъ. Холодно, спокойно. Не задумываясь много.

Я ждаль, что же еще онъ скажеть—и не дождался.

И попросилъ:

- Потрудитесь статью и документы при ней мнѣ вернуть.
- У меня статьи и документовъ нѣтъ. Они у соредактора.
- Позвольте: мнѣ сказалъ батюшка, что у васъ.
 - Невѣрно сказалъ. У соредактора они.
 - Хорошо. Пойду къ нему.

Я простился: наклономъ головы.

«Большой писатель»... онъ жилъ въ меблированныхъ комнатахъ и пошелъ меня провожать по длинному корридору до лѣстницы!

Значить, смутился! Значить, только теперь, какъ слѣдуеть поняль, что хамство его намѣреній оцѣнено вполнѣ. О, ты, трупная зараза человѣчества, если ты не неуязвима—значить съ тобой еще можно бороться и надо бороться!

И такъ хотълось сказать:

— А непріятно, когда зарвешься, а туть вдругь, неожиданно говорять: сударь, осадите назадь?! Сознайтесь: въ какую сумму я у васъ кушъ отнялъ? а?

И невинно, съ глуповатымъ видомъ засмѣяться! Но мало-ли чего иногда намъ хочется сказать—да бѣда въ томъ: обманываемъ себя, что это, молъ, невѣжливо, не слѣдуетъ границъ приличія переступать, а въ сущности—мужества не хватаетъ.

Потомъ я сообразилъ, что моментъ удобенъ и еще для кое чего. И предложилъ:

— Съ моей статьей, значить, не выгорѣло. Не напишите-ли вы о Бѣлянинѣ статью? Надо попытаться помочь этому человѣку или нѣтъ? Какъ вы думаете?

«Большой писатель» кисло согласился:

— Да, конечно. Я напишу.

Я поблагодариль его и взглянуль ему въ лицо: въ этомъ человъкъ я нажиль себъ врага!

И противно было за себя, когда мы дошли до лъстницы, за то, что не хватило мужества не принять лицемърно-протянутой этимъ повымъ врагомъ руки.

Отъ «большого писателя» я направился за своей статьей къ соредактору, но онъ мнѣ съ усмѣшкой заявилъ:

— С. сказалъ? Что онъ выдумываетъ? Она у него. Мнѣ она ни къ чему: онъ ее хочетъ использовать.

«Использовать?». И этотъ говоритъ такимъ тономъ, точно такія вещи въ порядкѣ вещей!

Я не могъ побороть отвращенія идти вторично «къ большому писателю» сейчасъ же и ръшилъ отложить до лругого раза.

Черезъ два дня въ «Правдѣ Господней» появилась статья г. С. въ 150 строкъ.

Гнусная статья! Низость за свою неудачу перенесла непріязнь на ни въ чемъ неповиннаго изобрѣтателя Бѣлянина.

130 строкъ въ статъъ это экскурсія въ далекое прошлое.

Ничего не забыль г. С. Вспомниль «тульстую стальную блоху», вспомниль, что первый паровозь быль изобрѣтенъ русскимъ человѣкомъ и проданъ въ Англію; поплакаль еще о нѣсколькихъ талантливыхъ горемыкахъ, которыхъ видѣлъ на своемъ вѣку... онъ ничего не забылъ: писаль о тѣхъ, кто давно умеръ, или кому это не нужно, но человѣкъ живой, страдающій быль обойденъ.

О немъ всего только 20 строкъ—и 20 строкъ такихъ, изъ которыхъ одинъ выводъ: есть де моль, крестьянинъ Бѣлянинъ, который изобрѣлъмашину.

Немного удивленія: по профессіи портной и изобрѣтеніе машины?

Немного крокодиловых слезь: и такъ, молъ, у насъ на Руси всегда гибнутъ таланты самородки. И больше ничего.

Ну, «не большой-ли писатель?!» *).

Съ глубокой болью я вчитывался въ «Правду Господнюю». День ото дня она прогрессировала къ такому листку, который у читателя хотя бы съ чуть-чуть развитымъ литературнымъ вкусомъ, по большей мѣрѣ вызывалъ — отвращеніе, по меньшей — жалость.

На языкѣ батюшки это называлось: «давать народу здоровую духовную пищу.» И показателемъ того, что его убогій листокъ даеть—истинно здоровую духовную пищу было по его мнѣнію то, что листокъ прежде шелъ туго, а потомъ началъ подниматься.

Листокъ обслуживалъ самые темные элемен-

^{*)} Этотъ «большой писатель» здравствуетъ и по нынъ. И даже... человъкъ, покушавшійся обокрасть трудь начинающаго—этотъ человъкъ... пишетъ памфлеты на писателей! Ничего не подълаеть. «Большой писатель» изтиеизвъстных писателей не вылъзаеть—ну, и сердиться на большихъ...

ты столины—дворниковъ, кухарокъ, наиболѣе косныхъ рабочихъ изъ фабричныхъ, (заводскіе рабочіе косились на листокъ съ ироніей) онъ началъ проникать въ деревню, проникать не потому, что давалъ деревнѣ что либо цѣнное, а потому, что административная опека деревни подъ давленіемъ времени поослабилась—а батюшка, или совсѣмъ не зналъ, или забылъ, что читатель такого сорта настолько компетентенъ «зъ духовной пишѣ», что рядомъ съ его листкомъ жадно поглошаетъ и лубочную порнографію, и Пинкертоновъ, и Шерлоковъ Холмсовъ.

Батюшка не зналъ этого или забылъ: онъ рѣшилъ, что его листокъ взялъ «вѣрный тонъ», попадаетъ «въ самый жизненный нервъ»—и успокоился.

Дѣло поставлено, люди подобраны—значитъ отъ мелочей можно и отойдти. И батюшка отошелъ.

«Людей подобранныхъ» я постарался узнать всёхъ.

Во главѣ листка стояли соредакторъ, и г. С. Отъ нихъ зависило кому давать ходъ и кому нѣтъ; кто имъ по вкусу—тому дадутъ заработать, кто нѣтъ—затрутъ.

Особенный ходъ давался двумъ новоиспеченнымъ писателямъ изъ народа—одинъ бывшій столяръ, другой—нѣкій Т.; эти новооткрытые таланты наводняли листокъ—столяръ разсказами на тему о вредѣ пьянства, *) Т.—и на эту тему и на прочія.

Я далекъ отъ мысли считать себя авторитетомъ въ оцѣнкѣ данныхъ писателя, но этихъ талгчтовъ я могъ оцѣнить вполнѣ: убогій языкъ, убогія мысли. И думалъ: въ чемъ причина ихъ успѣха?

Особенно раздражаль столярь: онъ поучаль — нагло, назоймиво и... глупо.

Эта тенденція навела меня на мысль, что этотъ столяръ долженъ быть изъ особенно неблагонадежныхъ.

Я сталь искать случая раскусить эту штуку поближе и этоть случай представился.

Иду къ соредактору съ тѣмъ, чтобы онъ мнѣ вернулъ разсказъ «Въ заводѣ»—и натыкаюсь у него на Т... Творецъ повѣстей изъ народнаго быта, выразитель народныхъ нуждъ—оказался безнадежнымъ алкоголикомъ. Восточный человѣкъ В**) тоже алкоголикъ—но не изъ тѣхъ, надъ которыми всегда можно безнаказанно издѣваться; а этотъ—водка-ли парализовала въ немъ человѣка, или такимъ уже уродился,—плюнь ему въ лицо—утреться и, больше ничего.

Про такихъ, кажется, Щедринъ говорилъ:

^{*)} А самъ, какъ я узналъ позже, былъ на этотъ счетъ «мужчина законченный».

^{**)} Онъ былъ наиболѣе всѣхъ талантливымъ сотрудникомъ—плюсъ: восточная смѣтка,—но большого хода въ листкъ онъ не имѣлъ. Печатался изрѣдка.

«Сверни ему скулы—пойдеть въ баню, намылить, выправить, и вновь явится, какъ ни въ чемъ не бывало.»

Соредакторъ его за его какой-то разсказъ слег-ка пожурилъ:

Развѣ такъ пишутъ? Вы понимаете, какую-тутъ чушь занесли? а? Ну, и писака!

«Писака» стоялъ съ покорнымъ видомъ, принимая ругань, какъ должное — не спрашивая, въ чемъ «чушь?»—и, съ сознаніемъ, что «брань на вороту не виснетъ».

Потомъ бормоталъ:

— Конешно. Куда-жъ... Жена, дѣти... мѣшаютъ. Безъ ошибокъ никакъ не обойдешься. Премного вами благодаренъ.

Соредакторъ его слегка пожурилъ, а въ общемъ отпустилъ съ миромъ.

— Ну, ладно. Разсказъ пущу на дняхъ. Но только вотъ что:—погрозилъ пальцемъ:—не очень зашибай!

«Писака» ухмыльнулся:

— Помилте! На что? Жена дѣти... Много-то не раскатишся!

Они разстались. Взаимно довольные другъ-

Соредакторъ началъ искать мой разсказъ и, не находя предложилъ мнѣ побывать за нимъ черезъ недѣльку. Я сказалъ, что вещь мнѣ нужна очень теперь и попросилъ поискать повнимательнѣе.

Съ раздраженіемъ онъ рылся въ рукописяхъ и, не удержался мнѣ заявить:

— Очень нужно теперь? Напрасно вы думаете, что *нуженъ*. Вещь плохая. Ее нигдѣ не возьмутъ.

Я промолчалъ.

И вдругъ тотъ, кого я хотѣлъ видѣть — столяръ. Онъ вошелъ съ видомъ человѣка чувствующаго здѣсь подъ собой прочную почву; взгляды и рукопожатія, которыми они обмѣнялись — все это допускало болѣе интимную связь, чѣмъ отношенія только по редакціи.

- Ну, какъ тогда? встрѣтилъ его соредакторъ.
- Тогда... и столяръ, взглянулъ на меня и замялся.

Столяръ имѣлъ русскую фамилію—-но едва-ли въ немъ текла исключительно русская кровь: внѣшность его сильно отдавала цыганомъ.

И впечатлѣнія, кромѣ внѣшности, тѣже: хитрость, наглость, вороватость этого племени сквозили черезъ каждую его черту, черезъ каждое движеніе.

Столяръ замялся, соредакторъ понялъ, что «подомашнему совсѣмъ распускаться нельзя», когда тутъ свидѣтель и, враждебно бросилъ:

— Не найду разсказа вашего. Да и не время мнъ сейчасъ искать. Можете не безпокоиться: я вамъ его пришлю.

Я ушелъ.

И поняль окончательно, что въ «Правдѣ Господней» мнѣ не работать: не ко двору!

Безконтрольное владычество надъ редакціей отдано такимъ лицамъ, какъ соредакторъ и С.— отъ такихъ людей добра не жди.

Остается батюшка. Иниціаторъ газеты. Хозяинъ ея... Но... онъ забылъ весь міръ, всю—не только «Правду Господню»,—но и обыкновенную, нашу маленькую—человъческую.

Онъ пишетъ большую повъсть: «Святая кровь», — о томъ, что было во времена могущества Рима!

А то, что совершается на глазахъ—онъ не видитъ; когда напоминаютъ— онъ объщаетъ уладить, но на дълъ этого нътъ и нътъ.

Онъ глухъ и слѣпъ!

Не думаю, чтобы долго протянула со своимъ сотрудничествомъ въ «Правды Господней» и жена. Гнусно на душѣ.

Мои опасенія сбылись.

Жену изъ «Правды Господней» выжили.

Она пошла сдавать батюшкѣ работу, но батюшки не было дома, а былъ соредакторъ, который изъявилъ желаніе:

- Мнѣ нужно съ вами переговорить. Эти переговоры жена передала такъ:
- Приводить меня въ свою комнату и под-

нимаетъ вопросъ о тъхъ вещахъ, которые уже приняты Г.С... (батюшкой) Вижу: грубо и глупо придирается. На душв у меня кипить, но сдерживаюсь. Не забываю, что если порвешь, такъ поплатимся голодовками. Мягко доказываю ему неосновательность его придирокъ -- онъ становится втупикъ, отвратительно крутитъ усы и мычитъ съ видомъ своего превосходства: «Да, это такъ... Конечно... Но...» И выдумываетъ вновь какую нибудь нелѣпую, дикую придирку. И что же... Я, наконецъ, взбъсилась: «Вы нравственно-безграмотный человъкъ! И не вамъ быть на такомъ мѣстѣ. И наконецъ: какое вы имѣете право копаться въ томъ, что уже принято Г. С...?» Ухмыльнулся пошлякъ, закрутилъ усы и грозить: «Если копаюсь,—значить имъю на это право. А вы... такимъ тономъ у меня не принято говорить: это вы запомните». Я ухожу и говорю: «Это еще посмотримъ». Выхожу на улицу и встръчаю батюшку. Передаю ему все и прошу: «Избавьте меня отъ г. соредактора. Я не могу съ нимъ имѣть дѣла.»

Жена помолчала.

— Родной, и что же ты думаетть? Г.,С... поморщился и сталъ мнѣ внушать, что соредакторъ на этотъ разъ дѣйствительно вмѣшался не въ свою область, но вмѣстѣ съ тѣмъ далъ мнѣ и совѣтъ: чтобы я была помягче. А потомъ и по твоему адресу: «Удивительная, говоритъ, вы со своимъ мужемъ пара. Онъ съ моимъ соредакторомъ не ладитъ, вы тоже. Но такъ нельзя. Разъ я держу человъка на такомъ мъстъ— значитъ нахожу его достойнымъ. Объ этомъ вы и вашъ мужъ—подумайте. И будьте помягче».

Вновь жена помолчала.

— Я ушла. Я ничего ему на это не сказала. И знаешь: я больше туда не пойду. Буду искать грошевыхъ уроковъ, какой-нибудь другой работы, а туда не пойду. Я чувствую себя, что я уже мать... Ты понимаешь это?

Я поняль, но не такъ, какъ слѣдуетъ. Я испугался будущаго ребенка, того, что лишенія и голодъ грозять маленькой крошкѣ, и заговориль о безуміи порывать съ редакціей «Правды Господней». Изъявляя согласіе во имя ребенка смириться самъ и передъ батюшкой и передъ соредакторомъ, я убѣждалъ на это и жену. Но она послушала-послушала и рѣзко отмахнулась рукой:

— И тебѣ не совѣтую смиряться, и сама на это не пойду. Ты понимаешь, что я чувствую, чувствуя себя матерью? Думаю, что лучше голодать, чѣмъ насиловать себя въ это время чортъ знаетъ передъ кѣмъ. Не хочу, чтобы мой первый ребенокъ еще подъ сердцемъ матери всасывалъ въ себя то, что мнѣ противно! Понимаешь ты это?

Я понялъ. И пожалъ женѣ руку.

Такъ печально кончилось наше сотрудничество въ «Правдѣ Господней». Черезъ недѣлю—Пасха. А денегъ у насъ—увы и ахъ! Мнѣ получать съ «Правды Господней», нечего, но жена считаетъ заработанныхъ 120 руб.

Мы здемъ за деньгами вмѣстѣ. Мнѣ хочется можетъ быть, въ послѣдній разъ,—взглянуть на батюшку.

Дома его не застаемъ: онъ въ типографіи. Идемъ туда. Принялъ насъ батюшка холодно; въ особенности косо взглянулъ на жену. Такъ было очевидно, что «винтъ» «за нравственнобезграмотнаго человѣка» постарался отплатить насколько сумѣлъ.

Жена участія въ разговорѣ не принимала.

Вотъ моя послѣдняя встрѣча съ батюшкой.

- Г. С... На носу Пасха. Намъ нужны деньги. Будьте добры, устроить выдачу заработанныхъженою денегъ.
 - Bctxz?
 - Хотя бы не всѣхъ.
 - А сколько всего ей причитается?
 - Она насчитываетъ 120 рублей.

Онъ подумалъ.

- Да, настолько работы наберется. Но дать я сейчасть не могу. Вѣдь, изъ этихъ работъ ничего еще не напечатано. Въ печать пойдутъ только послѣ Пасхи.
 - Я сомнъваюсь въ этомъ.
- Почему?—и батюшка недоумѣвающе поднялъ брови.

— Вашъ соредакторъ забракуетъ вещи жены такъ же, какъ забраковалъ мой разсказъ «Въ заводѣ» или, напримѣръ, мое «Чудо?» *) Когда вы приняли его, вы обѣщали напечатать черезъ нѣсколько дней—съ тѣхъ поръ прошло три мѣсяца, а онъ не появился.

Батюшка вспыхнулъ:

— То, что взято мной, то будеть напечатано. Рано, поздно—это зависить отъ матеріала. А матеріалу у насъ много.

Въ это объясненіе я не вѣрилъ, ибо слишкомъ хорошо уже зналъ, что дѣло не въ матеріалѣ, а въ томъ, кто его пропускаетъ.

Не вѣрилъ, но чтобы не сердить батюшку, сказалъ:

- Вфрю вамъ. Тогда дайте намъ хоть рублей 50.
- Не могу и этого. Я уже авансами роздаль болье 1000 рублей, а у меня есть опасенія, какъ бы газету не прихлопнули. Уцьльеть она посль Пасхи—тогда съ удовольствіемъ. А теперь не могу.

Такого категорическаго отказа я не ожидаль, и въ мотивы отказа не могъ върить. Мнѣ отъ

^{*)} Этоть разсказь вы монхы глазахы совершенно ничтожень, но поздные я его напечаталь вы одномы журналь затымы... чтобы вы будущемы оны мны послужиль, какы документомы, или какы горькой памятыю... И напечатаны вы органы, гды работаюты не такія силы, какы вы «Правды Господней».

батюшки было извѣстно, что на газету запасено нѣсколько разрѣшеній *).

- Странно, такой большой праздникъ – и вы оставляете насъ безъ копѣйки.

Батюш за пожалъ плечами.

— Сожалью. Но должень вамь сказать, что въ этомъ вы виноваты. (Косой взглядъ при этомъ и на жену). Вы не хотите работать. У меня есть нѣқто... бывшій столярь. Быль безъ работы, голодаль, когда пришель ко мнв. Я хотвль ему дать заработокъ хоть на кусокъ хлѣба... Ну, рублей 25-30 въ мѣсяцъ. Какими нибудь замѣтками въ хронику изъ жизни рабочихъ. А онъ оказался человъкомъ очень способнымъ. Пошелъ-и пошелъ! Началъ давать отчеты изъ камеръ мировыхъ судей. Писать разсказы. И знаете, сколько онъ у меня теперь зарабатываетъ: до 300 рублей въ мѣсяцъ! Вы не ладите съ моимъ соредакторомъ; вы столкнулись только однажды съ сотрудникомъ С., - а онъ уже старый литераторъ, -- и дали ему поводъ съ одной встрфчи говорить о васъ отрицательно. А столяръ... да и всѣ прочіе, которые у меня работають-они и соредакторомъ и С... довольны и, соредакторъ и С.-ими довольны. Такъ то! Совътую вамъ надъ этимъ подумать.

И опять взглядъ на жену: пусть, моль, подумаеть и она.

^{*) «}Правда Господня» держалась послѣ этого еще съ полгода и перемънила иъсколько названій.

Я хотълъ сказать, что «мы подумаемъ», но пока пусть батюшка смфнитъ гнфвъ на милость и не оставляетъ насъ на Пасху щелкать зубами, но противна была ложь: послѣ этого я счелъ лишнимъ говорить съ батюшкой. Такъ мы и упли отъ него съ женой ни съ чѣмъ. Но, придя домой, я написаль батюшк в письмо. (Жалъю, что не оставилъ копін). Я писалъ ему: почему я и жена оказались не способными людьми, я говорилъ, что нельзя дов рять хозяйничать въ редакціи людямъ съ лошадинымъ чутьемъ, (соредакторъ) людямъ, покушающимся на трудъ начинающихъ (г. С...). Я говорилъ, что батюшка первый пастырь, который встрѣтился на моемъ пути и, что не моя вина, если этотъ пастырь не задаль себѣ труда вглядѣться «въ лушу заблудшей овцы». Я напомниль ему весь Петербуріскій періодъ. Я высказаль батюшк все, что слѣдовало высказать. А въ заключение заявиль, что ни я, ни жена подъ условіями такого подчиненія, какого хочеть г соредакторь отъ сотрудниковъ и которое санкціонируетъ самъ батюшка-подъ такими условіями мы работать не можемъ и не будемъ, а посему просимъ, чтобы редакція «Правды Господней» уплатила за работы жены въ суммѣ 120 руб. Въ противномъ случаѣ, я пообѣщалъ потребовать эти деньги судомъ.

Что то фатальное въ багющеть.

Въ бытность въ Петербургѣ онъ порадовалъ меня къ Пасхѣ «краснымъ яичкомъ» — бросилъ на произволъ судьбы; здѣсь — роль «краснаго яичка» его письмо.

Это отвътъ на мое. Вотъ оно.

«Милостивый Государь!

Если вы помните, первое ваше посыщение было таково. Больной, со скорченными руками и почти безъ ногъ, Вы пришли ко мнѣ съ рукописью. По разсмотрѣнію, она была никуда не годна. Но вамь, видимо, нужна была помощь, и вамъ дано было 25 руб. Вы приходили потомъ снова и снова, и приносили новыя какія то писанія, все бездарно и нелѣпо, и получали по 15 руб. и 25 руб. И такъ далѣе. Давалось вамъ, какъ несчастному больному, но не какъ писателю въ гонораръ. Чтобы оправлать ваши получки денегъ свыше 200 руб. въ общемъ, я предложилъ вамъ:

— Негодна ваша беллетристика. Напишите лучше безъ хитрости все, что вы пережили. Можетъ быть, можно будетъ обработать.

Вы принесли новую какую-то билиберду. И это было бромено за негодностью. Затъмъ вы просили уже 75 руб., а потомъ что-то 200... Это было смишкомъ. Вы получили отказъ.

Въ январѣ вы снова появились. И опять несли бездарныя, негодныя вещи. Съ вами церемонились, не говорили прямо, но печатать въль не печатали и все возвращали, но денегъ Вы и жена перебрали 80 руб. Давалось опять въ виду вашей бользни. Но вы, очевидно, ослѣплены своею геніальностью, равно и Ваша жена. Ея быль помъшенъ только отчеть коротенькій о лекціи. За это она перебрала что-то около 30-40 руб., вашего же никогда нигдъ, ни прямо, ни въ переработкъ не было напечатано ни строчки. Все бездарно. Поймите, Вамъ давалось какъ больному. Вамъ не говорилось, да и теперь не сказали бы, но Ваше письмо... Это -нѣчто особое. И еще угроза! Это что же-шантажъ? Ну, и молодчикъ Вы. Повторяю, все Ваше было никуда негодно и ни строки, ни слова не пущено въ нечать. Чего вамъ надо? Жаль, что не понялъ васъ раньше».

Свящ. Г...

Даже подъ такимъ письмомъ не устыдился упомянуть о своемъ санъ!

Вотъ и Пасхальные дни.

Мы съ женою ихъ проводимъ впроголодь. Грядущій день нашъ страшенъ и теменъ, какъ никогда, но жена (вѣроятно, только крѣпится) внѣшне бодра, оживлена, и подбодряетъ меня.

Вотъ уже третій день по утрамъ, когда мы встаемъ, она смѣющимся взглядомъ засматриваетъ мнѣ въ глаза и шаловливо грозитъ пальцемъ:

— Родной, не смѣть унывать! Знаешь: духъ потерять—все потерять. Хлѣбъ есть—и ладно; а головы не повѣсимъ—и калачъ добудемъ.

Полуголодные дни меня не тяготять: я слиш-комъ сыть отъ письма батюшки!

Жена по цѣлымъ днямъ бѣгаетъ по знакомымъ курсисткамъ: подыскиваетъ послѣ праздника себѣ какой нибудь работы.

Я этимъ доволенъ: при ней я боюсь такъ много отдаваться своимъ чернымъ думамъ, и даже писать эти записки.

А груда этихъ несчастныхъ, дикихъ листовъ ростетъ и ростетъ. Я ненавижу эту груду самъ, но я отравленъ ею, прикованъ къ ней. Я боюсь эту груду разворачивать; да и смысла въ этомъ нѣтъ: все такъ хорошо помню. И вмѣстѣ съ тѣмъ, когда она выростала все больше и больше, а съ этимъ росла и моя боль—рядомъ съ болью было какое-то странное чувство.

Сегодня я это чувство опредълилъ.

Я, въроятнъе всего, издохну гдъ-нибудь подъ

заборомъ; пусть такъ, — но я издохну съ этой грудой дикихъ, злосчастныхъ листовъ.

Вѣдь, къ кому только мы истинно добры, милосердны, справедливы—это только къ мертвымъ.

Тогда напечатають, прочтуть, посочувствують, но... не поймуть и не почувствують, какъ слѣдуеть, этого послѣдняго плевка!

Пишу и буду писать до конца.

Пишу затѣмъ, ибо сказано: «Если же сольземли потеряетъ силу, то чѣмъ сдѣлаешь ее соленою? Она уже ни къ чему негодна, какъ развѣ выбросить ее вонъ на попраніе людямъ».

Пишу въ формѣ *личнаю обращенія*, ибо я, можетъ быть, издохну подъ заборомъ, а батюшка прочтетъ.

«Почтенный пастырь! Въ жизни, въ обыкновенной жизни принято уважать тѣхъ людей, которые честно трудятся для своего благополучія и не обворовываютъ другихъ.

Никому не помогають, но никого и не обворовывають. И это слава Богу. Большаго спросить нельзя. Хорошо, что другихъ не давять.

Но вы человѣкъ—иной жизни. Вы мните себя, что «вы—свѣтъ міра», а посему: «Не можетъ укрыться городъ, стоящій на верху горы»!

Обычная мѣрка людей въ нашемъ дѣлѣ примѣнима быть не можетъ.

И если знамя вашей газеты—не обманъ, не пустыя слова безъ всякаго содержанія, надъ которымъ въ подобномъ случать вы втайнть души

могли бы только глумиться — тогда... встаньте почтенный пастырь!

Вы во всемъ обвинили меня, я во всемъ обвиняю васъ.

Кто изъ насъ правъ—встаньте, почтенный пастырь, ибо судъ надъ нами—судъ Правды Господней.

Если бы я быль убъжденъ, что вы обладаете такою мърою совъсти, которая иногда на нъсколькихъ словахъ порицанія способна проснуться и раскрыть глаза на себя, я письмо бы ваше охарактеризовалъ нъсколькими словами: «Это письмо—письмо зазнавшагося, торжествующаго хама; письмо—нравственно не воспитаннаго лица!»

Но я убъждень въ обратномъ—вы изъ числа людей: всякій, кто не отъ истины, тотъ не вмъщаетъ истины.

Сколько разъ я хотълъ натолкнуть васъ на истину, —припомните? —вы обходили истину.

Попытаюсь въ послѣдній разъ разжевать наши съ вами отношенія, положить вамъ въ ротъ— можетъ быть, на этотъ разъ вы проглотите ихъ хоть съ маленькой пользою для себя.

Вы поклонникъ и восхвалитель Толстого; но поклоняться и восхвалять—не значитъ еще понимать: пристегнуть себя къ великому—иногда значитъ только возвысить себя за счетъ другого.

Толстымъ сказана огромная истина: «Чѣмъ выше стоитъ человѣкъ на общественной лѣст-

ницѣ, чѣмъ съ большими людьми онъ связанъ, тѣмъ больше власти онъ имѣетъ на другихъ людей, тѣмъ очевиднъе предопредъленность и неизбъжность каждаю его поступка *).

И, если бы эту истину вы чувствовали даже чуть-чуть—мнѣ не пришлось бы вамъ писать взбѣсившаго васъ письма, а мнѣ не пришлось бы получить отъ васъ вашего шедевра.

- Разберу этоть шедевръ по пунктамъ.

1) Милостивый Государь!

«Если вы помните, первое Ваше посѣщеніе было таково. Больной, со скорченными руками и почти безъ ногъ, Вы пришли ко мнѣ съ рукописью. По разсмотрѣнію она была никуда негодна. Но вамъ, видимо, нужна была помощь и вамъ дано было 25 рублей».

Лишнія слова! Почтенный пастырь, вѣдь, отъ скорченныхъ рукъ и отсутствія здоровыхъ ногъ страдаль я и мнѣ ли объ этомъ забыть? Я не забыль. Но, зачѣмъ вы забыли, что такой калъка поставиль вамъ условіемъ: «Милостыни я не хочу; ею жить тяжело, да и жизни безъ цъли не принимаю. Но если найдете у меня дарованіе и захотите поддержать—поддержите меня до конца».

Видите: вы забыли—и очень существенное!— а не я. Но дальше.

^{*)} Курсивъ мой.

2) «Вы приходили потомъснова иснова, и приносили новыя какія - то писанія, все бездарно и нелѣпо, и получали по 15 руб. и 25 руб. и т. далѣе.»

Мило! Но, зачѣмъ вы какія то писанія бездарныя и нелѣпыя пытались устраивать не куда нибудь, не въ маленькое изданіе, а въ «Русское Богатство»? Какъ можно рѣшаться завъдомо бездарную вещь нести зъ такой журналъ?

3) «Лавалось вамъ, какъ несчастному больному, но не какъ писателю въ гонораръ».

Почтенный пастырь. А я, вѣдь, васъ именно объ этомъ и просилъ, чтобы помощь мнѣ давалась не только, какъ несчастному больному. Гдѣ были ваши уши? Не вы посылали меня въ «В, Т.» узнать: почему мой разсказъ не появляется? И если допустить, что тутъ такая тонкая деликатность,—дать человѣку иллюзію, что его вещь гдѣ-то принята, но-чего на самомъ дѣлѣ не было,—то не жестоко ли посылать человѣка «со скорченными руками и почти безъ ногъ» въ очень холодную погоду за 15 верстъ?

Почтенный пастырь, нитки, которыми вы шьете, *очень бълы*!

4) «Чтобы оправдать Ваши получки свыше 200 рублей въ общемъ, я и предложилъ Вамъ: «Негодна Ваша беллетри-

стика. Напишите лучше безъ хитрости все, что вы пережили. Можетъ быть, можно будетъ обработать». Вы принесли новую какую то билиберду. И это было брошено за негодностью. Затѣмъ вы просили уже 75 руб., а потомъ что-то 200. Это было слишкомъ. Вы получили отказъ».

Странно! Несмотря «на негодность» всего, что приносилось, вы почему то возымъли надежду оправдать свои выдачи?! Да, я далъ вамъ то, что пережилъ. Вы заставили «скорченныя руки» писать—несмотря на то, что все, что приносилось до этого, все это «оказывалось билибердой».

Какія бѣлыя нитки! Не лучше ли было бы прямо сознаться, что наша «даровитая творческая сила» на утилизацію даннаго матеріала оказалась слаба?

Почтенный пастырь! Передъ вами раскрыли огромный міръ и, если вы въ этомъ мірѣ ничего не услышали и ничего не увидѣли—не моя вина, что вы слѣпы и глухи.

Почтенный пастырь. Истинные таланты творять и безъ схемъ. Послущаютъ, всмотрятся и творятъ.

Вамъ понадобилась схема. Вамъ не нужно было литературной обработки: на это есть техника почтеннаго пастыря!

И я вамъ далъ схему безъ литературной обра-

ботки—но плоть и кровь пережитаго! — Насполько, что когда вы мнѣ этой «какой то билиберды» не вернули (хотя она у васъ и была ивла, какъ писали)—я почувствовалъ, что вторично этой «билиберды», когда нѣтъ черновика, мнѣ не написать. Слишкомъ горячо я отдалъ эту «билиберду» вамъ: была большая и дорогая боль—я ее вычерпалъ изъ души; былъ огонь для васъ, для себя—остылъ. Что пишется болью и кровью,—не повторяется. На повторенія силъ не хватаетъ.

Я вамъ отдалъ огромный міръ выстраданный мною; возможность видѣть и понимать въ этомъ мірѣ всю его красоту и весь его ужасъ—эту возможность я купилъ цѣною десяти мучительныхъ лѣтъ собственной жизни.

Я вамъ отдалъ то, что для другого послужило бы ивлыма сокроенщема, отдалъ съ полною
мѣрою благодарности за нѣсколько кинутыхъ
мнѣ въ видѣ милостыни десятковъ рублей—а
вы, простите меня почтенный пастырь, вы глупо
порылись въ томъ, чего не понимали, и бросили, и затоптали; вы отняли у литературы огромный міръ, міръ отраженный не холодными и
близорукими выводами посторонняго наблюдателя, а міръ отраженный трепетомъ души; съ
закваской тѣхъ сухихъ и лицемѣрныхъ книжниковъ, которые не праведно возсѣли на «Моисеевомъ сѣдалищѣ» вы слѣпо прошли мимо міра
великой красоты, и великаго ужаса—не поняли,

не почувствовали, не позаботились вернуть матеріала тому, кому онъ принадлежить: бросили, затоптали и поглумились! Ваша творческая фантазія способна только на взмахи коротенькой статьи, фельетона, вашъ взглядъ способенъ обозрѣвать жизнь только съ высоты птичьяю полета—а вы однажды вообразили, что способны создавать огромныя полотна яркими, углубленными мазками.

И еще, почтенный пастырь, одна маленькая деталь, которая говорить однако о многомъ: вы все умаляете, кромѣ... своего рубля.

Не вѣрно, что вы соблаговолили подачекъ мнѣ на сумму, «что-то свыше 200 руб.»; не вѣрно: только 169.

Записывался, почтенный пастырь, каждый вашъ рубль, записывался! Бѣдный писатель «со скорченными руками» страстно желалъ вернуть вамъ ваши «оболы» прежде съ благодарностью; потомъ страстно желать бросить вамъ ваши подачки съ тѣмъ чувствомъ, котораго они заслуживаютъ.

5) «Въ январѣ вы снова появились. И опять несли бездарныя, негодныя вещи. Съ вами церемонились, не говорили прямо, но печатать вѣдь не печатали и все возвращали, но денегъ вы и жена перебрали 80 руб. Давалось опять въвиду вашей болѣзни».

Да, я появился въ январѣ вновь. Но почему вы приняли меня холодно съ тѣмъ первымъ разсказомъ, въ которомъ вы усмотрѣли пагубное вліяніе Горькаго и, расцвѣли при второмъ? Если вы жалѣли только, какъ больного, почему не дали денегъ при первомъ разсказѣ и дали при второмъ? Или, какъ можно человѣку, на котораго вы смотрите безнадежно, открывать текущій счеть въ конторю, какъ постоянному сотруднику? И наконецъ: все по бользни, да по бользни! Все какъ будто бы изъ состраданія, или хоть изъ жалости.

Ахъ вы святая душа на костыляхъ!

Почтенный пастырь. Настолько-то вы несомитьно дальновидный человъкъ, чтобы видъть: какой смыслъ давать больному деньги, когда онъ проживаетъ ихъ больной? Не логичнъе ли, если у васъ такое доброе сердце, вылечить этого больного: затратить на него деньги и вернуть его къ былому труду? Дать ему трудоспособность и сказать: «На писательство поставъте крестъ. На это у васъ нътъ данныхъ. Но я вернулъ вамъ здоровье—область труда для васъ открыта».

Припомните, почтенный пастырь, свою попытку въ Петербургѣ, когда вашъ же знакомый профессоръ сказалъ, что меня вылечить можно, но когда вы узнали, что леченіе будетъ стоить 90 руб. въ мѣсяцъ, вы задумались: «Это дорого. Рублей бы 30».

«Оболы» свои пожалѣли? Ими измѣряете свою доброту?

Наконецъ, вы пообъщали все-таки «подумать и куда-то меня устроить».

Почему же не шевельнули пальцемъ, чтобы куда-то «устроить»? Вы предпочли только тѣшить обѣщаніями и «искорками дарованія».

А вотъ тотъ, кто «сломалъ себѣ голову на босякахъ» тотъ лечилъ меня, не задумался надътѣмъ, что «это дорого». И лечилъ не только, какъ больного, а писалъ мнѣ: «Вамъ нужно лечиться. Писатель долженъ быть здоровымъ человѣкомъ».

Какая горькая истина: одинъ далекъ отъ Евангелія—а иногда близокъ Евангелію дѣломъ; другой твердитъ о Евангеліи неустанно—а дѣла его, заклеймены тѣмъ же Евангеліемъ: «связывають бремена тяжелыя и неудобоносимыя и возлагаютъ на плечи людямъ, а сами не хотятъ и перстомъ двинуть ихъ;

всѣ же дѣла свои дѣлаютъ съ тѣмъ, чтобы видѣли ихъ люди; расширяютъ хранилища свои и увеличиваютъ воскрылія одеждъ своихъ;

такъ же любятъ предвозлежанія на пиршествахъ и предсѣданія въ синаго-гахъ; и привѣтствія въ народныхъ собраніяхъ, и чтобы люди звали ихъ «Учитель! Учитель» *)!

^{*)} Отъ Матоея, глава 23.

Бълыми нитками свою доброту шьете почтенный пастырь!

6) «Но вы, очевидно, ослѣплены своею ген альностью, равно и ваша жена».

Стыдно за писателя съ именемъ за то, что даже и достоинство человѣка онъ возводитъ въ недостатокъ.

Почтенный пастырь. Къ счастью для меня я не лишенъ сознанія видѣть свое превосходство надъ тѣми, кто ниже меня; я не лишенъ достоинства, чтобы плясать подъ дудки низкихъ и ничтожныхъ душонокъ—а это развѣ синонимы «съ ослѣпленіемъ»?

Было время—умалялъ себя, черезчуръ возвышалъ надъ собой недостойныхъ, —было, но прошло.

«Учителя жизни» скоро научили меня понять одну горькую, хотя и необходимую каждому истину, которую не лишнее знать и вамъ, почтенный пастырь.

Вотъ она:

— Кто не знаеть себѣ настоящей цѣны,—то переоцѣнить себя, то не доцѣнить,—тому жизнь съ теченіемъ времени покажеть его правильную оцѣнку.

Разумѣю подъ словомъ «покажетъ» хоть немного чувствующихъ и мыслящихъ по человѣчески.

Какъ ни хитро обходятъ люди жизнь, но есть,

есть въ ней, почтенный пастырь, пеумолимое возмездіе: никуда отъ него не уйдешь, всюду оно найдеть и покараеть въ той или иной формѣ, но покараеть за ея попранную правду.

Что же касается «ослѣпленія» жены — почтенный пастырь, есть такое изреченіе: «что дѣлать, люди — всегда люди: и лучшіе изъ нихъ иногда забываются».

Но нельзя же забываться такъ, какъ забываетесь вы, не иногда, а всегда, не насчеть одного, а насчеть мношхъ. Отъ кого не тѣмъ духомъ пахнетъ, который намъ нравится—значитъ такихъ всѣхъ подъ дугу? Надо надъ этимъ духомъ подумать бы—а мы подъ дугу? Это печально безконечно, это цѣлая трагедія, но это такъ: «ослѣпленіе» жены для меня лишнее подтвержденіе того, что и въ проявленіи своихъ добродѣтелей вы празднуете побъду Пирра: человѣкъ съ минимумомъ благородства, гордости, съ чувствомъ собственнаго уваженія къ себѣ послѣ вашихъ добродѣтелей будетъ не съ вами, а противъ васъ! Сѣйте же сѣятель въ еще чистыя души мракъ и холодъ!

7) «Вашего же ниготь никогда не было помъщено ни строчки. Все бездарно. Поймите же, вамъ давалось, какъ больному, вамъ не говорилось, да и теперь не сказали бы, но ваше письмо... Это — нъчто особое. И еще угроза! Это что

же—шантажъ? Ну, и молодчикъ вы. Почторяю, все ваше было никуда не годно и ни строчки, ни слова ни пущено въ печать. Чего вамъ надо? Жаль, что не понялъ васъ раньше».

Таковъ заключительный аккордъ вашего письма, почтенный пастырь!

Горько ваше письмо, но есть въ немъ и то, что заставило меня и улыбнуться: это то, что вы меня подвели подъ категорію шантажистовъ.

Когда слишкомъ «хватаютъ черезъ край»— это всегда достигаетъ противоположной цѣли, Вы, вѣроятно, думали: огорошу же я «молодчика», чтобы впредь не зарывался. А я, представьте себѣ, улыбнулся: какъ иногда улыбаемся надъ шуткой. Улыбнулся и оторвался на минуту отъ своего злосчастнаго, безрадостнаго письма— и въ это время замѣтилъ, что ваше письмо разбилось на семь пунктовъ. Вышло это само собою и дало мнѣ возможность на вашу мигую шутку отплатить своей. Я подумалъ:

— Семь? Цифра знаменательная. И не фатальная ли для почтеннаго пастыря: уже не грѣшенъ ли онъ во всѣхъ семи смертныхъ грѣхахъ?

Но въ сторону шутки. Не до шутокъ.

Обратите свое благосклонное вниманіе на эти повторенія: *больной*, *больной* и *больной*... Мы ужъочень упорно упираемъ на свою гуманность!

Но, знаете ли, почтенный пастырь, что истинная доброта стыдлива: она не только никогда не будеть кичиться собою, но и не любить, когда о ней говорять другіе.

Истинная доброта, творя добрыя дѣла, не думаетъ, что она кому то оказываетъ милость, не ждетъ благодарностей, и не бѣсится, когда встрѣчаетъ яко бы черную неблагодарность.

Такая доброта никогда не помнить, что она «то-то сдѣлала», — она помнить только объ одномъ: надо сдѣлать вотъ то-то... Вотъ у васъ послѣдняго «то-то» и нѣтъ. И у кого его нѣтъ это мое убѣжденіе: тому никогда не довести добраго дѣла до конца!

Никогда. Ваша доброта—доброта отравляюшая душу, родящая ненависть и озлобленіе.

Грубо кичиться состраданіемъ къ больному, котораго вы два раза швыряли на произволъ нужды—и когда? Жестки сердца людей, но всетаки есть дни въ году, когда жесткія сердца смягчаются и вспоминаютъ «о сирыхъ и неимущихъ».

А вы? Почтенный пастырь, васъ преслѣдуеть какой то проклятый рокъ: въ первый разъ вы бросили меня безъ гроша въкарманѣ къ Пасхѣ одного, во второй—тоже къ Пасхъ, и тоже безъ гроша, и уже не одного!

Пришла къ вамъ женщина. Она ни о чемъ васъ не просила. Вамъ почему-то захотѣлось втянуть ее въ свое болото и, когда она въ этомъ

болотъ начала задыхаться, когда попыталась обратить на это ваше вниманіе—что вы сдѣлали? Вы умудрились и ее оплевать!

Вы человѣкъ не бѣдный. И грубо кичиться нногда догротой избытка, а иногда, можетъ быть, добротой и ради избытка!.. За такую доброту, можетъ быть благодаренъ не тотъ, кому вообще больно получать помощь, хотя бы она оказывалась и въ благородныхъ формахъ, а только тотъ, кто тунеядецъ, кто смотритъ на имущихъ, какъ на дойныхъ коровъ. Но много ли стоитъ такая благодарность? И кто, наконецъ, плодитъ такихъ тунеядцевъ—это доброта вашего порядка.

Эхъ, батюшка-батюшка! Горько на душъ. До того, что всей этой горечи и не выскажешь.

И чтобы вы не писали, какъ бы вы о «Правдъ Господней» не распинались—человъкъ знающій васъ не повърить вамъ.

Вы вотъ проституируете такими сентенціями: «Екатерина II говорила: лучше оправдать десять виновныхъ, чѣмъ осудить одного нериннаго. (И отъ себя добавляете). Еще болѣе справедливо назвать героемъ не того, кто въ одиночку убилъ семь непріятелей, а кто спасъ жизнь одному заклятому врагу».

Куда ужъ вамъ до спасенія жизни «заклятыхъ враговъ», когда вы съ такимъ мужествомъ можете добивать больныхъ «со скорченными руками и почти безъ ногъ?»

Видно, получать «оболы» за мораль—хорошо

и пріятно, а расплачиваться за нее—не одно и тоже.

Почтенный пастырь, позвольте дать вамъ совътъ.

Когда человѣку нужна помощь—вспомните, что право на жизнь другого мы обязаны уважать не менѣе своего; это по человѣчески—въ силу нашей взаимной обязанности, а если по Божьи—то и побольше, чѣмъ свое.

Вы, проповѣдникъ Бога, какъ я убѣдился, безконечно отъ этого далеки.

Право на проповъдь морали въ вашемъ духъ имъютъ только тъ, кому органически присуще только что высказанное мной понятіе о помощи; кому же это понятіе органически не присуще—тогда мораль подлая штука! Тогда она убиваетъ въ душахъ то, что хотъла возрождать.

Вотъ все, почти все, что я вамъ хотѣлъ сказать, почтенный пастырь.

Остается одинъ только вашъ вопросъ, обращенный ко мнѣ: «Чего вамъ надо?»

Все ваше письмо вообще «особое», а этотъ вопросъ прямо «нѣчто особое».

И когда я въ вашемъ письмѣ дошелъ до этого вопроса—у меня въ глазахъ потемнѣло.

Кому вы этотъ вопросъ задаете? И посль чего? И сколько въ немъ позорнаго недомыслія, зачерствѣлой сухости?

Этотъ вопросъ обнажилъ васъ во весь вашъ ростъ.

И чего больше онъ во мит вызываеть—гитва или глубочайшей жалости—не могу опредтанть. Слишкомъ много того и другого!

Полно отвѣтить вамъ на этотъ вопросъ пока не могу.

Если судьба будеть ко мнѣ такъ многомилостива, что дасть когда нибудь свободно вздохнуть, подлечить свои душевныя раны, дастъ возможность поглубже заглянуть въ міръ вамъ подобныхъ и яснье опредълить свой—тогла я, вѣроятно, полнѣе скажу—чего мнъ надо?

А пока... пока я отъ васъ и отъ людей вашего типа желаю очень немногаго.

Почтенный пастырь, если бы я родился въ какой - нибудь другой культурной странѣ, въ странѣ, гдѣ не такъ беззастѣнчиво процвѣтаетъ хищничество, гдѣ есть большая національная сплоченность, гдѣ право человѣка на жизнь не затоптано, какъ у насъ, гдѣ стыдятся добивать больныхъ «со скорченными руками и почти безъ ногъ»—то тамъ бы я остался тѣмъ мягкимъ, незлобивымъ человѣкомъ, какимъ былъ я, когда вращался въ средѣ народа.

Тамъ, если бы я дѣйствительно, какъ по вашему, оказался полной бездарностью, тамъ всетаки человѣка такъ бы не кидали, такъ надъ нимъ не измывались: или подлечили бы и вернули къ трудоспособности, или дали бы какоенибудь немудрящее дѣло: если, молъ, у тебя ужъ такой неудержимый зудъ писательствакусокъ хлѣба и уголъ тебѣ обезпеченъ, а остальное—въ остальномъ пусть тебя убѣдитъ время. Но я—я существую въ Россіи. Въ дикой, несчастной, кошмарной Россіи. Въ странѣ, гдѣ такилъ неучамъ, какъ я, приходится напоминать о человѣчности «лучшимъ людямъ» этой страны, ужасаться ихъ безсердечію, сухости, свидѣтельствовать имъ о томъ, что соотвѣтствіе ихъ слова съ дѣломъ—позорно-зіяющая бездна! Я въ странѣ, гдѣ изъ такихъ мягкихъ, простодушныхъ, черезъ чуръ даже любвеобильныхъ людей, какимъ не такъ давно былъ я, быстро дѣлаютъ авторовъ такихъ писемъ, какъ мое къ вамъ, почтенный пастыръ.

И радъ бы не писать, да слишкомъ высокую марку преподносятъ: не выдерживаень.

Значитъ, читайте!

Чего мнѣ надо?

Надо было мнѣ немного, но когда я пошелъ за этимъ немногимъ, мнѣ дали то, отчего голова ломится.

Ломится отъ наплыва чувствъ и мыслей— и все горькихъ.

Видите, почтенный пастырь, я очень люблю одну изъ сложныхъ тайнъ мірозданія—человѣка. Положеніе мое было такое, что лучше-бы мнѣ умереть, но я, оказалось, очень любилъ человѣка и эта любовь заставляла меня жить и искать помощи.

Любя человѣка, я, конечно, и вѣрилъ сильно въ него.

Любя человъка—я жадно хотъль имъть всъ знанія о немъ. И върилъ, что мнъ окажуть доступъ къ нужнымъ знаніямъ.

Со страстной жаждой я хотъль глубже знать, изучить и провърить вотъ эти слова въ стихахъ: *):

«Тотъ всеобъемлющій законъ, Которымъ все живеть отъ вѣка, Онъ въ насъ самихъ, онъ заключенъ Незримо въ серлиѣ человѣка: Его любовь, и гиѣвъ, и страхъ, Его надежды и желанья, Все, что кипитъ въ его дѣлахъ, Чѣмъ онъ живетъ и движетъ прахъ,— Есть—та-же сила мірозданья!».

И я пошель къ тѣмъ, про кого думалъ, что они «свѣтъ міра». Пошелъ глупый, наивный восторженный: мнѣ кидаютъ пока замаскированную подачку, оскорбляющую меня милостыню, а я за эту «чечевичную похлебку» безъ всякихъ колебаній отдаю все «свое первородство», все лучшее своей души.

Но, вѣдь, и у такихъ простаковъ, какъ я иногда глаза открываются.

Какъ они открылись на другихъ—объ этомъ пока помолчу, а насчетъ васъ, почтенный пастырь, послушайте!

Чего мнѣ нало?

^{*)} Алексѣя Толстого.

Мить надо, чтобы вы любили людей не мертвой любовью, не отвлеченной, а живой. Для васъ пока не существуетъ человъка конкретнаго, кромъ себя, поэтому вы такъ къ другимъ грубы и не чутки. Поклонникъ мертвыхъ и книжныхъ формулъ—вы далеки отъ того, чтобы чувствовать горе и радость живой личности и, миссія ваша: угашать духъ! Претворять подаваемый хлъбъ въ камни!

Мнѣ надо, чтобы вы смотрѣли на жизнь н людей иначе, чемъ смотрите теперь. Математика хорошая наука, но уложить въ ея формулы жизнь и человъка-не всегда можно. У жизни и человъка, почтенный пастырь, своя логика—и къ этой логикѣ нужно подходить не съ готовымъ, да къ тому же еще очень грубосложившимся шаблономъ, а съ чувствомъ, почтенный пастырь, съ тъмъ большимъ чувствомъ, которое знаеть, что на каждый отдёльный случай въ жизни и на каждаго отдъльнаго человъка должна быть особая мѣрка. Мнѣ надо. чтобы другіе не писали вамъ такихъ писемъ, какіе писалъ и пишу я вамъ и не получачи отъ васъ вашихъ. Въ стремленіи реабилитировать себя вы повторяете: бездарность, бездарность, какая-то билиберда, какія-то писанія...

Объ этомъ можно сказать, если это нужно было сказать, одинъ разъ: ни вы, почтенный пастырь, ни вашъ соредакторъ, ни г. С.—такіе люди скоро не забываются и авторъ, вѣроятно,

болѣе васъ помнитъ, что его не печатали. Вы, почтенный пастырь, опоздали меня раздавить такимъ образомъ: когда я къ вамъ пришелъ впервые и, если бы тогда вы мнѣ сказали, что я бездарно ть—вы бы меня раздавили.

Когда «бездарность» видить, что утверждающій о бездарности авторитеть прыгаеть въ самыхъ лучшихъ случаяхъ не выше лба бездарности—можетъ-ли она повѣрить?

Вотъ, если бы къ вашему безъ нужды сильно выраженному мнѣнію присоединили аналогичное... ну, хотя бы Шекспиръ или Толстой—тогда бы другое дѣло.

Вы, почтенный пастырь, и другіе научили меня быть упрямымъ человѣкомъ: если я не встрѣчу человѣка, я издохну подъ заборомъ, но и издыхая тамъ, я буду убѣжденъ, что русская литература настолько богата... брилліантами Тетъ, что не нашла нужнымъ поднять такое золото въ кварцѣ, какъ я.

Меня вы не раздавите эпитетомъ «бездарности», но мнѣ надо, чтобы вы не раздавили другихъ. Мнѣ надо, чтобы вы видѣли, уже не сами, а когда обращаютъ на это ваше вниманіе другіе, что люди, которыми вы себя окружаете, ни на что иное неспособны, кромѣ, какъ вставлять палки въ колеса того дѣла, которое вы ведете.

Мнѣ надо, чтобы вы не удваивали муку страданія тѣхъ, которые загнаны будуть къ вамъ безвыходными обстоятельствами. Не удваивали!

Что нибудь одно изъ двухъ: или прямо добивайте, или оказывайте истинную помощь, а не комедію ея.

Мнѣ надо, чтобы вы имѣли уши слышать, когда оскорбленный человѣкъ взываетъ къ вамъ о справедливости. Вы мечтали при мнѣ, что хотите слышать, когда рабъ заговорить языкомъ свободнаго человѣка, а на дѣлѣ... когда, прижатый нуждой человѣкъ не выдерживаетъ вашего болота и рѣшается заговорить не рабъимъ языкомъ,—что вы ему посовѣтовали? Принять ваше болото за непогрѣшимое мѣсто и принизиться до раба!

Мив надо...

Почтеный пастырь, отъ этихъ «надо» у меня голова ломится.

И я обобщу покороче всѣ эти «надо».

Вы—первый, за вами другой, потомъ опять вы, два издали большихъ человѣка дали мнѣ ужасное чувство.

Несчастная Россія, страшная страна,— что ждеть тебя, когда твои лучшіе люди таковы?

Даже у этихъ лучшихъ людей нѣтъ на дѣлѣ истинно національнаго родства: слова говорять о національном родства, а дѣла—о національной розни.

Чудится, что всюду врали, фразеры, книжники, карьеристы—только такіе заняли непринадлежащія имъ мѣста: глаголомъ жечь сердца людей!

И кажется, сколько бы ты любви и силь не

принесъ въ этотъ міръ—ты всегда останешься въ немъ чужакомъ, гонимымъ и оплеваннымъ.

Не это-ли и есть истинная любовь къ народу? Я пришель въ этотъ міръ «со скорченными руками и почть безъ ногъ», пришель съ трогательнымъ, благоговъйнымъ чувствомъ въ душъ: поддержите и научите, если заслуживаю».

И наталкиваюсь... къ кому подойдешь поближе—на «Кнутобоевъ духа», а на кого смотришь издали—къ тъмъ страшно подойдти.

Видъ холодный, многознаменательный. Богь умишкомъ тебя не обидѣлъ—многое понимаешь безъ указки, но по временамъ умишка начинаетъ мутиться.

То кажется, что они только притворяются, скрывають за душой не сокровища, а ломанные гроши; то, что ты дъйствительно залъзъ не въсвою сферу и не можешь понять идей и задачь этихъ людей.

Но это пока только еще по временамъ. Совствиъ еще не забили, не раздавили.

Въ моемъ ужасномъ чувствъ, почтенный настырь, и вы не мало потрудились.

Спасибо вамъ за него. За чувство гибели, упадка!

Это все, что вы мнѣ дали. И то, что вы мнѣ дали—я нахожу, что это очень далеко не только отъ Правды Господней, но и отъ обычной, нашей маленькой правды-человѣческой.

Простите за тонъ письма, онъ, можетъ быть,

мѣстами рѣзокъ; но, почтенный пастырь, когда слишкомъ сильно бьютъ—тогда по неволѣ сильно кричатъ.

Пребывайте во здравіе «Кнутобой духа»!

Така облагод втельствованный вами...

М. Сивачевъ.

Въ судъ однако, какъ я писалъ батюшкѣ, я не обратился. Во первыхъ, изъ не любви къ судамъ, ибо съ такими учрежденіями никогда дѣла не имѣлъ; во вторыхъ, чѣмъ доказать суду законность иска?

Стоило сказать батюшкѣ пару словъ, что несомнѣнно почтенный пастырь и заявилъ бы: «Все, что приносилъ мнѣ истецъ и его жена—все это было бездарно и ничего мной не взято»—и наше дѣло съ женой было бы проиграно.

Сдѣлалъя попытку передать нашъ конфликтъ гласности—побывалъ въ редакціяхъ двухъ газетъ. и, въ обѣихъ нашли, что:

— Это дѣло суда. Да и тамъ врядъ ли вы выиграете.

Словомъ, старая истина:

— Съ богатымъ не судись, съ сильнымъ не борись.

Тогда я пишу почтенному пастырю, чтобы

женъ вернули ея вещи, мнъ два моихъ разсказа и статьк о изобрътателъ Бълянинъ.

Мнѣ вернули... одинъ только мой разсказъ «Чудо».

Остального ни я, ни жена ничего не получи ли. Что ни вернули вещи жены—это еще было понятно: ими, в фроятно, было р фшено покрыть взятыя нами деньги. Но на что и кому понадобились мой разсказъ и статья—это для меня осталось тайной.

Я писалъ вторично, требуя возврата своихъ вещей и документовъ, касающихся изобрътателя Бълянина*)— меня не удостоили *отвътомъ*.

Еще позже—время выяснило вдохновителей «Правды Господней» вполнъ.

Дѣло тамъ не въ талантѣ, а въ томъ: кто больше потрафитъ такимъ лицамъ, какъ соредакторъ почтеннаго пастыря и г. С.—тотъ больше и заработаетъ.

Дошло до того, что жена столяра, того, съ котораго почтенный пастырь совътоваль брать мнѣ примѣръ, какъ съ «очень способнаго человъка», —жена этого столяра, портниха по профессіи, была редакціей «Правды Господней» командирована въ Берлинъ и писала оттуда корреспонденціи...

Не думайте, что о какихъ нибудь пустякахъ?

^{*)} Не вернула редакція «Правды Господней» документовъ и Бѣлянину, хотя алресь его редакцій быль извѣстенъ.

О, нътъ! На портниху была возложена большая миссія: изучить психологію такого огромнаго города, какъ Берлинъ!

И портниха справлялась со своей задачей великольпло: ходила по Берлину и, восторгалась въ корреспонденціяхъ... вывъсками, въжливостью обращенія, дешевизной и опрятностью номера, въ которомъ жила, а потомъ неизбъжно недоумъвающе плакала:

— «А у насъничего... ничего подобнаго нѣтъ!
 И почему?»

Потомъ все больше и больше началъ выясняться «очень способный человѣкъ».

Когда «Правда Господня» прекратила свое существованіе—этотъ столяръ публикуеть, что у него складъ сочиненій почтеннаго пастыря...

Сумѣлъ значить подъѣхать!

Еще немного и онъ объявляется въ роли редактора—издателя народной газеты.

Любопытство погнало меня къ этому... товарищу—рабочему! Прихожу. Не узнаваемъ. Сюртучный костюмъ, длинные писательскіе волосы и... очки!

Синіе: чтобы за ними не было видно глазъ. Повадка—такого редактора я узрилъ еще впервые: не генералъ, а генералиссимусъ-редакторъ! Спрашиваю:

— Въ матеріалъ не нуждаетесь?

Протягиваетъ руку за рукописью и—снисходительно: — Нуждаться? Далеко нѣтъ. Но... давайте, просмотримъ. Подойдетъ—возьмемъ. Зайдите недъльки черезъ двѣ.

Я отдаю рукопись и, спохватываюсь:

— Позволь e! Вы оплачиваете принятый матеріаль, или нѣть?

Генералиссимусъ вдругъ просіялъ:

— Этого, къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ. Изданіе еще молодое. Но... надѣюсь... (пауза) когда окрѣпнетъ средствами, тогда можетъ быть...

Я задаю вопросъ.

- A вы за то, что редактируете газету, что нибудь получаете?
- А какъ же-съ? Надо же мнѣ на что нибудь жить?

Я вытягиваю изъ рукъ такого редактора свою рукопись:

- А мнѣ тоже на что нибудь надо жить!
- Но позвольте: вѣдь, я же говорю, что когда окрѣпнетъ средствами, тогда можетъ быть.:.
- Ахъ, только еще «можетъ быть». Надежда плохая.

Онъ отъ неожиданности растерялся и... хихикнулъ. Сквернымъ смѣшкомъ смушенной мелкой душонки.

Я тронулся къ выходу, онъ меня остановилъ:

— Слушайте. Изданіе молодое и... идейное. Вы знали газету «Правда Господняя»? Я съ большимь успъхомь работаль въ этой газеть. Но

она—ее задавили административно. А я, воть, поднимаю знамя этой газеты...

Я поворачиваюсь къ выходу и бросаю:

Желаю вамъ съ честью нести его!

И что же? Напророчилъ я этому редактору нѣчто.

Мѣсяца черезъ два, онъ свою газету продалъ одной партіи: это было время выборовъ во вторую государственную Думу и партія купила органъ ради агитаціонныхъ цѣлей. Тиражъ газеты столяра былъ значителенъ; это отмѣтилъ одинъ юмористическій журналъ, а вмѣстѣ съ тиражемъ отмѣтилъ и фактъ, что столяръ задѣлавшись редакторомъ ѣздитъ не иначе, какъ на лихачахъ.

Но тиражъ былъ все-таки не настолько высокъ, чтобы окупать лихачей и... пьяныхъ оргій въ редакціи—и газета была продана партіи.

А новая редакція на второмъ же номерѣ выразила сожалѣніе, что... огромный комъ грязи былъ брошенъ на рабочія массы за то, что столяръ-редакторъ распорядился деньгами на свои нужды, деньгами, которыя были на что-то пожертвованы подписчиками!..

Вотъ, молъ, каковы выходцы изъ рабочихъ-то!.. Столяръ съ честью вынесъ знамя газеты.

Еще позже—онъ издавалъ пятикопъечные журналы. Издавалъ на средства участвующихъ— каждый авторъ помъщающій свое произведеніе долженъ быль его оплачивать, а затрату на это

получать въ видѣ соотвѣтствующаго количества номеровъ журнала и продажей его возмѣщать оплату. Находились сотрудники и на такихъ условіяхъ, всегда, конечно, оставались въ убыткахъ, а столяръ редакторъ—очень рѣдкихъ изъ своихъ сотрудниковъ онъ удостаивалъ пожатіемъ руки.

Съ честью несъ достоинство редактора: жилъ на счетъ наивныхъ, слишкомъ довърчивыхъ людей, а до "панибратства" съ ними себя не допускалъ.

Еще позже—когда дураки начали прозрѣвать и не давать не легко добытыхъ рублей на изданіе журнала,—столяръ и тутъ не потерялся. Пошелъ и долго работалъ у одного издателя: писалъ Шерлоковъ Холмсовъ и самую низкопробную порнографію *).

И такого-то воть дъльца почтенный пастырь ставиль мнѣ въ примѣръ, какъ «очень способнаго человѣка».

Радуюсь за почтеннаго пастыря: за его нюхъ узнавать людей!

^{*)} А я... Много у меня потомъ было крайне тяжкихъ минутъ, когда казалось, что если бы подвернулась какая нибудь мегера, я ради искусства слова былъ бы способенъ продать себя. Себя, но не искусство, не слово свое: своей святыни я ни съ Холмсами, ня съ порнографіей не смѣшалъ.

1907 годъ. Конецъ ноября.

Братья-писатели! въ нашей судьбѣ, Что-то лежить роковое...

Опять я беру эпиграфомъ эти слова Некрасова.

Я было забросилъ свои записки, болѣе полутора года прошло, а я не занесъ въ нихъ ни одной строки.

Хорошо это или нѣтъ? Пожалуй, лучше. Объективнѣе взглянешь на себя и на другихъ

Посмотримъ, что за «рокъ», лежащій въ судьбѣ современныхъ писателей.

Но съ чего начать? Голова ломится!

Я долго надъ этимъ думаю; потомъ мой взглядъ падаетъ на стѣны моего угла, — и припоминаются откуда-то слова: «какъ ты дошла до жизни такой?»...

И я рѣшаю: начну съ этого; съ того, какъ я въ эту яму попалъ.

Мит необходимо нужно было переселиться въ одинъ районъ. Три дня я искалъ себт комнату въ этомъ районт—и все безплодно: на лицо только то, что я измучень поисками до упаду и ошарашенъ цѣнами до того, что отчаиваюсь найдти себѣ жилье въ нужномъ мнѣмѣстѣ.

Иду на четвертый. И воть, въ тридцати шагахъ отъ того дома, куда я въ скоромъ времени долженъ ходить на занятія, на окнѣ одного подвальнаго помѣщенія записка о сдачѣ комнаты.

— Подвалъ? Въроятно, сырость? Мнъ ли съ моимъ ревматизмомъ жить тутъ?

Окно съ запиской возвышается надъ тротуаромъ на одну треть, остальная его часть тонетъ въ землъ.

Минутъ пять я стою въ нерѣшимости, раздумывая, что внѣ-подвальныхъ помѣщеній по своему карману мнѣ тутъ комнаты не найдти и наконецъ, рѣшаюсь войдти во дворъ.

Ищу, гдѣ же входъ въ квартиру № 6—и не нахожу. Прибѣгаю къ помощи дворника—онъ мнѣ указываетъ, вырывая у меня невольное признаніе:

— И это вкодъ въ квартиру? Ничего подобнаго въ жизни не видалъ!

Дворникъ ухмыляется и уходитъ.

И это входъ туда, гдѣ живутъ люди? Въ аршинъ съ четвертью ширины и не болѣе двухъ въ высоту, но аршинъ высоты скрадывается уровнемъ земли, дверь этого входа скрывается съ одной стороны стѣною дома, съ другой лѣстницею на второй этажъ настолько, что безъ указанія дворника никогда нельзя принять это килье за жилье.

Если и попадется на глаза — можно предположить, что это или курятникъ, или конура для собаки, или просто отъ чего-то оставшаяся брешь въ стѣну, за ненужностью закрытая досками; словомъ все, что угодно, но только не то, гдѣ могуть жить люди: и смѣшно, и дико!

Я рѣшаю пойти осмотрѣть комнату — не затѣмъ, чтобы поселиться въ ней, а затѣмъ: надо посмотрѣть, до чего и куда люди нуждой загнаны?!

Иду. До двери—спускъ въ три крутыхъ ступени, потомъ поворотъ направо — три шага въ этотъ поворотъ и я въ полнѣйшей тьмѣ. Зажигаю спичку и съ трудомъ разглядываю жуткую картину: около двухъ сажень длины нора, въ концѣ ея дверь—идешь къ двери и касаешься плечами обѣихъ стѣнъ этого страшнаго хода.

Стучу въ дверь. Холодъ отъ камня въ этой норѣ остро-влажный, пронизывающій.

Дверь отворяется. Вхожу. Довольно большая кухня, но въ ней полутемно: въчные сумерки!

Хозяйка ведетъ меня черезъ кухню въ комнату, на ходу поясняя:

— Сама съ дѣтишками вотъ здѣсь ючусь, а комнатку-то сдаю. Хорошая комната! Довольны будете.

И върно. Я удивился: комната сверхъ ожи-

даній. Три окна—одно на улицу, два во дворъ. Больша». И цѣна недорога: 11 рублей.

Чувствую, что рубль хозяйка можеть уступить, но объ этомъ и не заикаюсь: за 11 рублей такая комната—это мнѣ кажется цѣлымъ кладомъ.

Спрашиваю, нѣтъ-ли сырости и пробую на ощупь одну стѣну: стѣна влажновата.

Хозяйка спѣшитъ увѣрить, что сырости у ней не водится:

 Это такъ. Видите: только вчера оклеена, ну, совсѣмъ-то еще и не просохло. Довольны будете.

Комната мнъ очень нравится, но я припоминаю, каковъ въ нее ходъ—и колеблюсь:

- Комната, пожалуй ничего, а вотъ «лазъто» въ нее?.. Никогда ничего подобнаго не видълъ.
- «Лазъ»... Это входъ что-ли?— и хозяйка съ льстивой улыбкою отмахивается рукою: Входъ то все и нортитъ; если бы не такой входъ, то за такую комнату надо взять 25 рублей! Свътлая такая, просторная. Пятерымъ жить можно.

Еще разъ я окидываю комнату взглядомъ — и она побъждаетъ мой страхъ передъ входомъ: даю задатокъ.

Опять со свѣтомъ спички выбираюсь по жуткой норѣ на дворъ и смотрю на этотъ дикій входъ въ человѣческое жилье уже съ улыбкой человъка видавшаго виды на своемъ въку и,— ст успокаивающей мыслью, что ходить ко мнъ некому, а самъ выхожу изъ дому въ день разъдва.

Бѣда ужъ не такъ велика, какъ кажется.

Довольный неожиданной удачей иду домой, а на другой день къ часу дня—уже на новомъ пепелищѣ.

Сборы и неревозка, и расположение своего убогаго скарба въ новомъ углу меня утомили и я прилегъ вздремнуть, а когда проснулся — былъ удивленъ: неужели я такъ долго проспалъ?

Въ моей комнатѣ было настолько темно, что для того, чтобы взглянуть на часы мнѣ потребовалось зажечь спичку: было еще только около трехъ дня.

Меня охватиль внезапный приливъ тяжкаго чувства.

— Куда я попаль? Вѣдь, это яма какая-то. И какъ я могъ такъ ошибиться?

Я припомчиль вчерашній день — этоть день меня обмануль. Слегка морозный, ярко-солнечный, онъ точно зло смѣялся надъ зимою, выжигая на ея парчевомъ покровѣ сѣровато—бурыя, тяжело осѣдающія пятна, а мѣстами, гдѣ меньше снѣгу, и совсѣмъ черныя проталины.

Скрасило солнце и мою комнату — весело брызгали его лучи въ два окна моей комнаты, (когда я ее осматривалъ) и, доходя до стѣнъ, оклееныхъ бѣлыми, новенькими обоями, падали

на эти обои снопами золотистаго цвъта, что и создало мнъ иллюзію, что эта подвальная комната не такъ уже страшна, какъ можно о ней думать съ улицы: достаточно свътла и уютна!

Но это было вчера, а сегодня: я упустиль изъ виду, что я осматриваю комнату въ одинадцатомъ часу утра и, что солнце свътитъ такъ ярко зимой далеко не каждый лень!

И въ первый разъ въ жизни я до такой остро пугающей и волнующей тоски почувствовалъ, какъ дорогъ и необходимъ человъку свътъ дня.

Вставали невольныя сравненія комнаты только что покинутой и этой новой.

Тамъ сухо, тепло; здѣсь сырость, со стѣнъ вѣетъ застарѣлой, холодной плѣсенью чрезмѣрно влажнаго камня.

Тамъ одно окно-но огромное, изъ цъльнаго стекла.

Тамъ свѣтло днемъ, еще лучше ночью. Можно было обходиться безъ огня: прямо противъ окна газовый фонарь—такъ хорошо было сидѣть и смотрѣть на его ровный, бѣлый, успокаивающій свѣтъ: мрачная тяжесть пережитаго скращивалась свѣтомъ тихой, мудрой скорби—той, что уже начинаеть постигать лицо Вѣчности,—и вселять въ душу тишину примиренія съ острыми углами жизни.

А здѣсь—здѣсь три окна, но развѣ это окна? Три выбоины-ниши въ толстыхъ стѣнахъ, откуда изображая собой свѣтъ, зловѣще пучаться въ комнату три бѣлесовато-темныхъ тяжелыхъ квадрат. Я пытался побороть себя тѣмъ, что перемѣна комнаты была необходима, что здѣсь мѣсто моихъ занятій, что называется «подъ бокомъ», что, наконецъ, гдѣ же въ Москвѣ, въ центрѣ города, найдешь себѣ комнату за 11 руб. въ мѣсяцъ, какъ не въ подвальномъ помѣщеніи? Да и не на вѣчно же я здѣсь поселенъ: отживу мѣсяцъ—и съѣду.

Но какъ я себя ни убъждалъ—а приливъ тяжкаго чувства не исчезалъ: выжить тутъ мѣсяцъ это казалось такой безконечностью, которой не выдержишь.

Порывало встать и бъжать.

Когда совсѣмъ погасли бѣлесовато-темные квадраты, я поднялся съ постели и зажегъ огонь; комната отъ огня немного повеселѣла, но квадратные выбоины зіяли угнетающе: вмѣсто такъ привычной синей или бархатисто-мягкой тьмы ночи глазъ рѣзали бѣлѣвшіе за стеклами снѣжные тупики.

Я лѣзу въ чемоданъ, вытаскиваю простынь, разрываю ее на куски и занавѣшиваю ими окна.

Оглядываюсь— бѣлый фонь обоевъ мягко гармонируетъ съ бѣлыми занавѣсками и мое тяжкое чувство слабнетъ; даже вырывается вздохъ облегченія.

Берусь было за книгу, но сосредоточиться на ней не удается. Трудно подавить мысль, что стоить только откинуть занавѣски отъ оконъ и

вновь явится нѣчто похожее на чувство заживо замурсваннаго человѣка.

Не нужно ничего читать—довольно этихъ оконъ: стоитъ только глядѣть на эти угрюмосиѣжные тупыки,—они послѣдовательно развернутъ всю ту чудовищную картину насилія надъчеловѣкомъ, гдѣ предпослѣдній финалъ: отнято у человѣка его послѣднее, неотъемлемое правовидѣть изъ своего жилья Міръ Божій!

Отнято неотъемлемое право. Полумогила заживо. Ускореніе уже полнаго конца. Узаконенное убійство.

Моя комната отдълена отъ кухни перегородкой изъ тонкихъ досокъ.

Когда я перебирался—дѣтишекъ я видѣлъ мелькомъ; два мальчугана лѣтъ 8 и 10, и дѣвочка лѣтъ пяти.

Днемъ молчали. Сидъли, прижимаясь другъ къ другу на кровати, такъ смирно, точно ихъ и не существовало. Теперь разошлись. Чѣмъ то стучали, громко кричали и смѣялись мальчуганы, а ихъ сестренка придиралась къ нимъ за то, что они ее отчуждають отъ себя и, черезъ каждые три-пять минутъ принималась капризно ревѣть.

Съ раздраженіемъ я закрылъ книгу и выглянуль въ кухню.

Малыши притихли, а дѣвочка подобралась къ юбкѣ что то шьющей матери.

У меня холодно, а въ кухнѣ еще холоднѣе.

Моя комната согрѣвалась большою лампою, а туть—скупо горѣла маленькая, до мучительнаго увства маленькая, точно дѣтская игрушка, жестяная лампочка, гдѣ фунтъ керосину будеть горѣть болѣе недѣли. Дѣтишки истощены, съ иззябше-зелеными лицами, одѣты въ грязно-рваную рухлядь—и мнѣ стало стыдно за вспыхнувшій во мнѣ порывъ раздраженія: я выглянуль въ кухню съ тѣмъ, чтобы замѣтить хозяйкѣ, что шумъ дѣтей мнѣ мѣшаетъ заниматься.

Дикимъ насиліемъ показалось отнимать у нихъ эту свободу.

Но хозяйка поняла и безъ моего замѣчанія:

— Безпокоють вась? А воть я сейчась,— и ея рука ръшительно потянулась за плетью, вистышей рядомъ съ образами.

Я попросиль, чтобы она дѣтишекъ не трогала; потянуло поближе присмотрѣться къ этимъ малышамъ и, ласково потрепавъ старшаго изъ нихъ по плечу, я попытался заговорить.

— Весело тебѣ? а? Какъ тебя звать?

Старшакъ смутился: засунулъ полкулака въ ротъ и большими, печальными и испуганными глазами косился то на мать, то на меня.

- Ты не бойся. Я ничего... я не сердитый... Дъвочка оторвалась отъ юбки матери и, принимаясь тормошить старшака, пояснила мнъ, какъ его звать и, убъждала его:
- Митькой его звать. Митька говори! Дядя добрый... Ну?

Митька пытливо заглянуль мнѣ прямо въ лицо и, должно быть, повѣриль, что «дядя» и въ самомь дѣлѣ «добрый»—ткнуль на игрушечную лампочку пальцемъ и важно заявиль:

— Когда огонь—мнѣ весело...

Братишка его подтвердилъ:

- И миъ тоже!
- Почему же вамъ при огнъ весело?

Митька задумался. И, въроятно, старшакомъ онъ былъ не по однимъ только лѣтамъ: братишка и сестренка выжидательно уставились на него глазенками, а онъ основательно—столько, сколько думаютъ солидные люди, полумалъ и авторитетно заявилъ:

— Тақъ!

И видя, что отвѣтъ меня не удовлетворилъ, что я хоть и молчу, но выжидаю болѣе подробнаго объясненія—еще подумалъ и добавилъ:

— Днемъ мы не играемъ: днемъ — темно и плакать хочется. А теперь—теперь весело! Теперь, какъ лѣтомъ!..

Я не поняль, что значить «какъ лѣтомъ» и допытывался у Митьки:

— Какъ же это? Почему тебѣ при огнѣ такъ весело, какъ лѣтомъ? И почему тебѣ весело лѣтомъ?

Митька быль въ затрудненіи: опять засунуль полкулака въ ротъ и упрямо твердилъ:

— Такъ...

А когда сестренка ръшила:

 Митька, — дуракъ. Онъ ничего не понимае.ъ...

То Митька, — разсердился: такое не по дѣтски злое и холодное выраженіе залило его худенькое, блѣдное лицо, что я съ тяжелымъ чувствомъ поспѣшилъ убраться въ свою комнату.

Но и тамъ не могъ оторваться отъ загадки маленькаго мудреца. Слышалъ, какъ нѣсколько минутъ дѣти съ тихимъ смѣхомъ тихо шушукались, — очевидно насчетъ меня, — а потомъ вновь подняли гамъ и возню.

Въ одинадцать часовъ мать ихъ попросила укладываться спать. Они не хотѣли; пригрозила плетью—побоялись и улеглись. А когда мать собралась тушить огонь — всѣ трое въ одинъ голосъ принялись робко-трогательно просить;

— Мама, не туши солнышка... Не тупи, мамочка, солнышка!

Я вздрогнуль и сердце у меня на мигъ замерло. Пріотворяю дверь въ кухню—въ ней уже огонь потушенъ. Но широкая и яркая полоса свъта падаетъ изъ моей комнаты въ кухню и освъщаетъ лица сбившихся на постели дътишекъ и лицо матери—сухое, желтое, какъ охра, съ голодно-лихорадочнымъ блескомъ глазъ.

Она еще не успѣла лечь и стояла у постели.

- Почему бы вамъ, хозяйка, не оставить огня?
- Къ чему?

Безропотно-униженная, съ лестью, проникавшей все ея существо въ то время, когда я нанималь у ней комнату—теперь она полуобернулась ко мнѣ съ остро-враждебнымъ движеніемъ плечъ.

- Да хоть къ тому: можетъ быть дътямъ при огнъ спокойнъе спать.
- Баловство какое! Керосинъ мнѣ даромъ не даютъ.

Дътишки завозились; потомъ дъвочка приподнялась и протягивая рученки къ свъту изъ моей комнаты, тоскливо пролепетала:

- A, вотъ у дяди—солнышко-то... Больmoe!
- Молчать! прикрикнула злобно мать и, засмѣялась сухимъ, непріятно-деревяннымъ смѣхомъ.

Я вернулся въ свою комнату, раздѣлся, потушиль огонь, и улегся спать. Воздухъ нагрѣтый лампой отъ холодныхъ и сырыхъ стѣнъбыстро свѣжѣлъ и заставлялъ думать: каковъсонъ дѣтей подъ утро, укрытыхъ какой то рухлядью?

Изъ жилья выше въ подвалъ врывались какіе то тупые, ритмическіе звуки, — это раздражало, казалось, что кто-то умышленно не хочетъ дать заснуть.

Заснуль я поздно, подъ самое утро и не здоровымъ сномъ: поднялся съ больной головою.

Хозяйка подала самоваръ и покосилась на окна: время уже къ двѣнадцати дня, а въ моей комнатѣ угрюмо вѣяли вечерніе сумерки.

И переступая съ ноги на ногу около стола, она нерѣшительно сказала:

— Заспались вы долго. Хорошо такъ поспать. А у меня вотъ всегда безсонница. И отчего — сама не звъю.

Она видѣла, что я хмуръ; чуяла причину и заговорила съ цѣлью отвлечь меня отъ непріятныхъ ей мыслей.

Миѣ было противно и жаль ее за ея ложь. Я промолчалъ.

Она пошла и, когда переступила порогъ изъ комнаты въ кухню, искоса бросила на меня взглядъ. И такая бездна застарѣлой ненависти брызнула изъ этого взгляда, точно меня неожиданно обожгли.

Несчастныя дѣти, эта женщина, сырыя и холодныя стѣны подвала—мысль обо всемъ этомъ давила. Насильно, съ отвращеніемъ я выпиль стаканъ чаю: глоталъ и думалъ, что же мнѣ дѣлать? Глоталъ и блуждающимъ взглядомъ бродилъ по стѣнамъ своей комнаты. Новые, бѣлые обои мѣстами начали сѣрѣть; подхожу, осматриваю и убѣждаюсь, что черезъ три дня, самое большее черезъ недѣлю, эти обои намокнутъ, какъ тряпка.

у меня взрывъ опасенія, что мой ревматизмъ при такой обстановкъ свалить меня съ ногъ въ двъ-въ три недъли окончательно—и я одъваюсь, выбираюсь изъ подвала и иду... иду, куда ноги ведутъ.

Погода отвратительная: крупныя и мокрыя хлопья снѣга при сильномъ вѣтрѣ слѣпятъ глаза.

Во мнѣ — перемѣна: подъемъ духа. Я чувствую, какъ веселая, почти буйная волна захванываетъ меня отъ такой погоды, и бодро шагаю по бульвару.

Думаю: почему мнѣ безпричинно весело въ эту тьму кромѣшную и, безпричинно грустно, когда я вижу яркое, весеннее солнце?

Думаю и прихожу къ заключенію: этимъ «шиворотъ— на выворотъ» я обязанъ «учителямъ жизни.»

Вставало прошлое, грядущее—все пока сплошной заколдованный кругъ: оглянешься назадъ—ужасъ неотступно шелъ по пятамъ, посмотришь впередъ—ужасъ впереди: нѣтъ увѣренности, что не будешь задавленъ на полпути.

И темные призраки грядущихъ бѣдъ грозились мнѣ изъ все сильнѣе расходившейся метели, а я миновалъ одинъ бульваръ, другой, повернулъ куда то въ переулки—я шелъ съ тѣмъ мужествомъ, которое не дрожитъ ни передъчѣмъ и со всѣмъ тѣмъ, что будетъ, хочетъ помѣряться до конца.

И когда я вернулся съ этой прогулки—я весело взглянулъ на свой уголъ: «Отъ такого пустяка—и уныніе? Чортъ знаетъ что... Точно я въ немъ на вѣчность поселенъ. Стыдно!»

Черезъ недѣлю я отправился въ редакцію одного журнала. Идти было всего нѣсколько десятковъ шаговъ—и я медлилъ.

У меня было то блаженное состояніе, когда больной начинаетъ чувствовать, что продолжительная и тяжкая бользнь идетъ къ благополучному концу: полтора года я просилъ знакомыхъ и незнакомыхъ людей, чтобы мит помогли устроиться на какое нибудь маленькое дѣло—и все безплодно.

Но здѣсь... здѣсь клюнуло!

Завѣдующій редакціей встрѣтилъ меня смущенно: когда ему предстояло какое нибудь непріятное объясненіе, онъ нервно начиналъ приглаживать на лѣвомъ вискѣ такой непокорный вихоръ волосъ, который изъ всегда тщательно причесанной головы торчалъ очень демонстративно, Я насторожился: опять, вѣроятно, оттяжка.

Оказывается, вышло нѣчто много хуже; завѣдующій помолчаль и началь мямлить:

— Ахъ, это вы... Это, конечно, очень печально... А впрочемъ... Что вы мнѣ имѣете сказать?

Что я ему им тю сказать?!

И не смотря на вст мои усилія казаться спокойнымъ - мой отвътъ былъ ръзокъ, остро-отточенъ:

— Ничего иного, кромѣ того, что въ категорически назначенный вами срокъ, пришель приняться за объщанныя вами занятія! Онъ отвернулся въ сторону; попытался пригладъть непокорный вихоръ—онъ медленно началъ топорщиться вверхъ; когда убъдился, что онъ на своемъ мъстъ — злобно дернулъ его въ одну сторону, потомъ въ другую и, вновъ замямлилъ:

- Видите-ли... Случилось и вчто непредвид внеое... Внезапно! Совершенно неожиданно. Тотъ корректоръ, мѣсто котораго вамъ обѣщано опять остается у насъ.
- Позвольте,— говорю я, а потомъ голосъ мой падаетъ, я замолкаю.

Богатая обстановка кабинета, поль обитый зеленымъ сукномъ, завѣдующій, растерянно и съ опаской поглядывавшій на меня, портреты на стѣнахъ — все это плыветъ и кружится въ моихъ глазахъ.

У меня, должно быть, быль очень убитый видь—а завъдующаго это цодбодрило; онъ поспъшно началь оправдываться:

- Я васъ нонимаю... Это мѣсто вы выжидали около двухъ мѣсяцевъ. И будь бы я на мѣстѣ издателя, то, конечно, по справедливости, счелъ-бы, что тому корректору нужно отказать, а васъ на его мѣсто. Но я не издатель.

Я точно просыпаюсь:

— Ахъ, да, издатель! А воть я пойду къ нему. Я повъриль вамъ—и черезъ васъ чортъ знаеть въ какую яму попаль. Я объяснюсь. Онъ долженъ меня понять...

- Зачѣмъ же къ издателю? Я не совѣтую. Это не поможетъ.
 - У меня внезапная догадка:
- Да знаеть ли издатель, что мѣсто думающаго уйдти отъ васъ корректора ожидалъ другой человѣкъ?
- Какъ вамъ сказать?—завѣдующій мнется, потомъ находится;—О, да, конечно! Но только онъ страшно разсѣянный человѣкъ; онъ можетъ забыть и отвѣтить вамъ, что ничего объ этомъ не зналъ.

Я вижу, что поймаль завѣдующаго врасплохъ. Но, чтобы окончательно убѣдиться—молча выхожу изъ кабинета и иду въ комнату корректора. Онъ кстати на лицо: занятъ работой. Разспрашиваю и выясняется:

— Уходить?—и корректоръ дѣлаетъ удивленные глаза: Объ этомъ совсѣмъ и не думалъ. Правда, съ завѣдующимъ мы не въ ладахъ; онъ радъ бы меня сжить—но гдѣ ему? Онъ никакой роли здѣсь не играетъ; держится на мѣстѣ завѣдующаго редакціей—а завѣдуютъ то за него другіе. Его дѣло—давать объясненія, какіе ему прикажутся.

Я возвращаюсь къ завѣдующему. У меня то ледяное спокойствіе, когда разбивается что-нибудь большое, важное—и холодно я завѣдующему говорю:

— Не хорошо! Мы уже не дѣти; намъ пора, давно пора знать, что увѣренно обѣщать осно-

вываясь на одномъ только «авось»—это осложняется иногда въ очень тяжелыя послъдствія...

Онъ старается быть внѣшне спокойнымъ:

- Что же ты сердитесь? Кто же это могъ предвидъть...
 - Что предвидѣть?
- Да то, что корректоръ не уйдетъ. И... вообще: мнъ, какъ видно, всегда приходится расплачиваться за свою любезность...
- «Любезность?»—и съ порывомъ холоднаго бѣшенства я ближе пододвигаюсь къ этому человѣку. Я вижу передъ собой то гаденькое лицо, которое страдаетъ не отъ раскаянія за то, что по его винѣ ухудшилось положеніе другого, а оттого, чтобы поскорѣе кончилось это непріятное объясненіе; кончится оно—и сейчасъ же забудется; а явится вновь случай быть «любезнымъ» передъ виднымъ лицомъ— (письмо къ завѣдующему съ просьбой, что нельзя ли меня устроить при редакціи къ какому нибудь дѣлу давалъ писатель З.)—вновь дастся обѣщаніе на «авось»! Ибо это гакъ надо, чтобы завязывать знакомства съ видными лицами, а что отъ этого можетъ бъть съ невидными—это не важно.

Меня порываеть на скандаль, но я сдерживаюсь и ухожу.

«Любезный» человъкъ дълаетъ нъсколько шаговъ за мной и предлагаетъ:

- А не возьметесь-ли вы давать отчеты:
- Какіе отчеты?

 О выставкахъ, о музыкъ, вообще объ искусствъ.

Я усмѣхаюсь:

— Не за свое дѣло я никогда не берусь. А вотъ съ зашимъ издателемъ на счетъ мѣста корректора я непремѣнно поговорю.

Отъ безхарактерно-бѣгающихъ глазъ «любезнаго» человѣка вѣетъ опасеніемъ, что и въ самомъ дѣлѣ этотъ «грубый человѣкъ» пойдетъ на объясненія къ издателю—и онъ спѣшитъ отговорить:

— Не совътую. Ничего изъ этого не выйдеть. Попытайтесь лучше съ отчетами.

Миѣ этотъ человѣкъ противенъ, жалокъ, и, уходя, я бросаю:

 Можете быть, покойны. На объясненія къ издателю не пойду: милліонеры ни съ нуждой, ни съ справедливостью не знакомы.

Облегченно поднимаются на меня безхарактерно-бъгающіе глаза, облегченно потираются руки—и какъ послѣ пріятной бесѣды, очень радушнымъ тономъ выражается просьба:

— Кланяйтесь отъ меня Б. К.

Это тому, кто мнѣ далъ къ этому «любезному» письмо.

Съ зловъщимъ чувствомъ, что за одной бъдою жди другую—я лежу день, потомъ другой. Устало и тупо я думаю о томъ, какъ создалась иллюзія на мѣсто корректора и, какъ разбилась: глупо и подло!

Только два слова. Усталъ я вспыхивать.

Какъ быть? Что предпринять, чтобы вывернуться изъ ножиданно выросшаго тупика—объ этомъ тоже не думаю: пока чувствую только одно, что мнѣ надо «отлежаться», а дальше... тамъ увидимъ!

Но, какъ я себя икогда презираю за эти «дальше».

Какая сила гонить меня на новыя мытарства, на новыя униженія— сила ли мужества или страхъ смерти, котораго я какъ будто бы въ себѣ не замѣчаю—въ этомъ я пока не отдаю себѣ отчета.

Я отлежался. На третій день встаю—встаю безъ мысли, что либо предпринять, встаю только потому, что чувствую въ этомъ потребность, встаю—и вотъ новый ударъ.

Получаю отъ жены письмо:

«Родной, вижу, какъ пріютившіе меня люди могутъ раскаиваться за свой добрый порывъ и не могу больше имъ быть въ тягость. Рада за тебя, что ты, наконенъ-то, прінскалъ себѣ мѣсто: чтобы мы стали лѣлать безъ него? Завтра вы-

Я вдругъ похолодълъ; похолодълъ до какого-то чудовищнаго состоянія, когда самъ чувствуешь, что отъ твоего липа въетъ чуть не холодомъ трупа.

Тадое состояніе случилось со мной впервые, когда жена написала мнѣ о смерти нашего ребенка. Я застыль тогда съ письмомъ въ рукахъ и ни о чемъ какъ будто-бы не думалъ, ничего не чувствовалъ, кромѣ одного, совершенио новаго мнѣ явленія: подъ нижнимъ вѣкомъ лѣваго глаза съ точностью пульса пульсировалъ какой то нервъ, ошутимый и безъ ощупи.

И теперь, первая моя мысль была объ этомъ: «Значитъ, повторяемость? Вотъ это плохо. Должно быть, останется на всю жизнь».

А нервъ работалъ. Точно кто-то изнутри билъ маленькимъ молоточкомъ затѣмъ, чтобы не давать возможности забываться, успокаиваться. Онъ работалъ съ точнымъ ритмомъ и эта точность прежде родила досадное безпокойство, какъ будто бы маленькое, безсознательное безпокойство, отчего пнстинктивно съ недоумъніемъ и улыбкой хочется отмахнуться рукой.

Но потомъ... потомъ пришло главное. Блуждающими глазами я обвелъ подвать и... припомнилъ—каковъ входъ въ него.

Я попытался представить себѣ, что за чувство переживеть больная туберкулезомъ женшина, пока доберется до моей комнаты—и не могъ: весь дрогнулъ отъ мелкой дрожи, потомъ эта дрожь, какъ рябь рѣки отъ вѣтра, выростала въ волны ужаса, штурмующія безсильный, подавленный мозгъ.

Думалось, что сейчась надо что-то сдълать, но что именно до этого додуматься быль не въ силахъ.

А потомъ и совсѣмъ не могъ думать. Легъ въ постель и лежалъ, поглощенный весь боемъ нерва.

Было очень нестерпимое въ этомъ явленіи: въ началѣ его удары имѣли безболѣзненное ошущеніе, но съ теченіемъ времени наростала и боль—все усиливаясь и усиливаясь она шла изъ области глаза въ область лба, а потомъ и мозга.

И странно, что безпокоила не боль, а тоть ритмъ, который ее вызываетъ.

Хотѣлось—пусть боль болѣе сильная, до границъ, когда рвется невольный крикъ, но только бы не было этого ритма: чудилось, что отъего точныхъ ударовъ радіусами разбѣгается то, отчего сходятъ съ ума, лѣзутъ изступленно въпетлю.

И съ бъщенствомъ я надавливалъ ладонью руки на весь лъвый глазъ, думая: «Это можеть случится... О, это можеть?..»

Боль ощущалась, но ритмъ исчезалъ; отнималъ руку—онъ являлся вновь. Опять надавливалъ ладонью, но и это перестало помогать: ритмъ на секунду замиралъ, а потомъ его ощу-

щали и область глаза и ладонь руки. Мысленно я стональ; «Боже мой, когда же этому будеть конець?» Потомъ ругался: «Погоди, ты погоди: чорть тебя возьми, я съ тобой расправлюсь...»

Въ какомъ нибудь одномъ опредѣленномъ видѣ «расправа» не представлялась: мерещились всѣ виды самоуничтоженія и всѣ въ сравненіи съ этой пыткой казались хороши и законны. *)

По временамъ я широко открывалъ глаза: большаго ужаса, какъ такіе глаза, я ничего себѣ ни представляю. То блуждающимъ, то остро напряженнымъ взглядомъ я искалъ въ своей комнатѣ помощи въ образѣ человѣка—но человѣка не было и, устало вѣки глазъ смыкались сами-собой, помимо моей воли и, гдѣ то, въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ сознанія, являлась мысль, что стоитъ позвать хозяйку—и она явится; но я не звалъ, ибо тоже сознаніе говорило мнѣ, что хозяйка мнѣ ничѣмъ ни поможетъ.

Потомъ вновь открывались глаза и, опять, то блуждающимъ, то остро напряженнымъ взглядомъ и, со всей силой мольбы, на какую способна человѣческая душа, останавливались на стѣнахъ, на мебели: это трагедія человѣческой души, которая извѣрилась въ людяхъ, это ея страшный итогъ, что со своимъ горемъ лучше идти къ волкамъ въ лѣсъ, это то безуміе, когда міръ не воодушевленныхъ вещей къ тебѣ

^{*)} Частой повторяемости этого явленія не вынесеть ни одинъ человѣкъ, какъ бы онъ не быль силенъ.

ближе, чѣмъ міръ людей: смотришь на эти не воодуглевленные предметы и душа на своемъ языкѣ разсказываетъ имъ о томъ, что за великое несчастье быть человѣкомъ.

А потомъ... потомъ у меня уже не было ничего: ни времени, ни мѣста, ни чувствъ, ни мысли—былъ одинъ только чудовищно подавляющій все ритмъ.

И сколько времени тянулась эта пытка, какъ она исчезла—этого я не помнилъ; казалось, что я заснулъ, а можетъ быть, я и не спалъ—фактъ былъ только тотъ, что я пересталъ ощущать ритмъ нерва и получилъ способность интересоваться временемъ: взглянулъ на часы—было около трехъ ночи.

Затѣмъ меня потянуло къ особой тетради, куда всѣ свои необычныя переживанія я заносиль подъ первымъ впечатлѣніемъ.

Беру эту тетрадь и думаю: съ чего начать? И вдругъ испуганно вздрагиваю и такъ быстро,

И вдругъ испуганно вздрагиваю и такъ быстро, точно секунда промедленія можеть отнять у меня самое важное, заношу въ тетрадь:

«Есть въ глубинѣ человѣческихъ переживаній глубина, куда заглядываешь съ трепетомъ страха: боишься охватить сразу всей остротой внутренняго зрѣнія открывающуюся тайну, ибо эта тайна грозитъ, что за внезапное и полное открытіе ея, она раздавитъ своей шириной твое бѣдное, узкое, маленькое сознаніе. И невольно пятишся цазадъ съ мыслью: значитъ я еще пока вполнѣ

не посвященъ-надо подготовиться. Но какъ подготовляться? Однажды я пережилъ пыткувчера она повторилась съ большей силою; теперь я убъжденъ, что она во мнѣ, она со мной: живеть, и ждеть, когда явиться случай проявить себя. А я смертельно этого боюсь: безумно хочется увѣрить себя, что этой пытки не было, что она тяжкій сонъ, которому не дай Богъ повториться. О, Въчность! Такъ страшны и такъ блаженны Твои дары: вчера Ты пріобщила меня къ своему ужасу Безконечности – сегодня во мнѣ Твоя великая Безконечная тишина. И ни единымъ звукомъ, ни единымъ словомъ я пока не дерзаю передать Твоихъ тайнъ. О, Вѣчность! Въ какой бы позъ тъло мое не было-сейчасъ я сижу, потомъ буду лежать-тьло мое не важно, ибо духъ мой распростертъ передъ Тобою ницъ: все мое духовное я передъ Тобою—и мольба, и благословеніе, и покорность!»

Потомъ я откладываю тетрадь, тушу огонь и ложусь въ постель.

Лежу съ закрытыми глазами, но... можно иногда видѣть себя, какъ ты весь свѣтишься.

Тихій, сладкій сонъ медленно нисходить на меня.

Проснулся я около десяти утра.

Пробужденіе было тяжкоє: слабый лучь солнца робко и печально заглядываль въ одно окно.

Казалось: крикни—и онъ исчезнеть. И если бы я въ этихъ стѣнахъ былъ одинъ—мнѣ не удержаться бы отъ крика.

Но тамъ, за тонкой перегородкой хозяйка: развѣ какого-то безсмысленнаго съ ея точки зрѣнія крика было бы недостаточно для того, чтобы заключить, что жилецъ кажется не того... не въ своемъ умѣ!

Сколько было бы потомъ любопытно-назойливыхъ взглядовъ, искавшихъ подтвержденія?

И вотъ я лежу, говорю себъ, что я не только тъломъ, но и духомъ становлюсь опасно боленъ, и размышляю о своемъ недугъ.

Пріятно въ жаркіе, душные дни лѣта спрятаться въ комнатѣ и наблюдать, какъ знойное золото ухищряется прожигать темную ткань занавѣшенныхъ оконъ; а выйдти на дворъ, въ самое пеклоуже наслажденіе: голову печеть, какъ яблоко, того и гляди кожа сморщится, но что голова, когда такъ блаженно всматриваешься и прислушиваешься, какъ душа улыбается и поетъ на своемъ непенятномъ языкѣ гимны Солнцу!

Весело и бодро на душѣ, когда солнце ярко напомнитъ зимѣ о своемъ существованіи.

Хорошо просыпаться въ началѣ весны, когда розовые потоки—кажутся Архангелами!—воюютъ въ комнатѣ съ хищнымъ и обманчивымъ владыкой—деспотомъ человѣка—воздухомъ; хорошо просыпаться, но какъ мучительно выйдти не только на улицу, но встать и выглянуть въ окно:

что то тяжкое, безконечно-печальное чудится въ ярко-весеннихъ лучахъ солнца, тяжкое и безнадежное до такой степени, передъ чѣмъ въ одинъ мигъ чувствуешь себя совершенно раздавленнымъ.

Когда это началось—спрашиваю я себя и, припоминаю весну этого года—яркій, весенній день, день, когда я неудержимо плакаль оттого, что въ этоть весеній день окончательно разбили мою вѣру въ человѣка.*)

Я пытаюсь припомнить далекую пору дѣтства, когда я каждой клѣточкой своего существа съ упоеніемъ молился Творцу за весенее солнце—но нѣтъ, все блекнетъ, тускнѣетъ, весна для меня теперь символъ нестерпимой тоски. Тоски, которую бросили въ душу въ одинъ прекрасный весеній день и отняли радость весеннихъ дней: не сразу вспомнишь этого тяжкаго дня, но сразу почувствуешь всю тяжесть тоски и нѣсколько минутъ мучительно недоумѣваешь: «Да отчего? Вѣдь, совсѣмъ, кажется, безпричинно.»

Но припомнишь причину... Припомнишь! Взвѣшиваешь и будешъ взвѣшивать то невѣсомое, что отняли, разбили, затоптали, отняли то, безъ чего ты—печальная, тоскливая тѣнь въ прекрасные весенніе дни, то, о чемъ думаешь: хуже этой тоски у меня ничего нѣтъ.

^{*)} Болѣе подробно объ этомъ днѣ я говорю впереди въ своемъ инсьмѣ къ Горькому.

Но лучи весенняго солнца—были лучами безь образа, а этоть лучь, робко и печально заглядывающій въ окно моего подвала—создаль мнѣ образъ.

Казалось, что кто-то великій, безсмертный, уже давно безумный отъ того, что онъ видѣлъ, неустанно бродитъ по землѣ и съ безмѣрной скорбью заглядываетъ въ жилища людей.

И робкій и печальный свѣть луча—это не лучь солнца, а свѣть его глазъ.

Еще разъ я попытался настойчиво внушить себѣ, что я боленъ, что такимъ вещамъ поддаваться нельзя, и поспѣшилъ подняться съ постели.

Пиль чай. И печально и робко заглядывающаго луча уже не было, а я жилъ чувствомъ, что его не забудешь. Казалось, что ты сидишь—а онъ за спиной, пойдешь—онъ послѣдуетъ за тобой, закрой глаза... я пробовалъ дѣлать и это: тогда вѣки глазъ пронизывалъ этотъ странный, мучительный свѣтъ.

Свътъ, одно представление о которомъ вызывало потребность бурно рыдать отъ его безмърной скорби.

Но некогда, некогда отдаваться своимъ переживаніямъ, хотя бы и очень тяжкимъ, когда ты не одинъ: грядетъ нѣчто болѣе страшное, чѣмъ ты.

Я достаю изъ стола кошелекъ и, хотя знаю, что тамъ всего- на всего двѣ трехъ-рублевки, выкладываю ихъ на столъ-и застываю надъ ниме.

Нестериимо!

Опять Служдающими глазами я обвожу стѣны и различные предметы въ своей комнатѣ, -- опять міръ невоодушевленныхъ вещей видить, какое несчастье быть челов комъ! - взглядъ мой падаетъ на зеркало и я вижу, что лицо мое мертвая маска, одни глаза страшно живутъ: голоса нътъ, голосомъ уже не крикнешь, а вотъ эти потемнъвшіе, бездонные глаза кричать о томъ, что за борьбу ты переживаешь.

Глаза? Многіе-ли понимають глаза, когда не слышать словъ?

Я мучаюсь. Злыя предчувствія, что у кого бы ты не попросилъ помощи, ты ни отъ кого ее не получишь, меня не покидають.

Я мучаюсь, утрачиваю послѣднія силы, даже ненависть гаснетъ, и ищу поддержки: достаю пачку писемъ жены.

Вотъ предпослѣднее:

«Родной. Я просила у М. для тебя денегъ, но она ръшительно отказала. Мало того: я зам'вчаю, какъ она тяготится даже мною. Недавно она платила за меня за столъ и комнату 25 рублей и, забывая о томъ, что вс тыв изв тстно, что ея милліонныя имфнія и заводы чисты отъ долговъ, жаловалась на долги.

Мнѣ стоило большого труда, чтобы не упрекнуть ее въ алчности: въдь, она лаже бездѣтна! Образъ жизни ведетъ замкнутый и, для кого умножаетъ то мнстое, что имфетъ-совершенно не понимаю. Но довольно о ней. Мить стыдно вспоминать, когда въ бытность со мною на гимназической скамь в она строила грандіозные планы на то время, когда она будетъ полною обладательницей завъщаннаго отцомъ состоянія; теперь она полновластная хозяйка своимъ миллюнамъ, но объ всѣхъ свонхъ просвѣтительныхъ и благотворительныхъ планахъ забыла: живетъ съ мужемъ въ своихъ имъніяхъ и охотится вмъстъ съ нимъ на волковъ! И очень не любитъ напоминаній, что когда то объщала быть живыма человпкома! Подумаемъ, родной, о себѣ. При мысли, что ты тамъ голодаешь, я въ отчаяніи. Ради тебя я готова вырвать изъ себя кусокъ мяса—но в вдь это намъ не поможетъ. Тебф необходимо достать себѣ какое нибудь мъсто; маленькое, хотя на 25-30 рублей, но это все же легче, чтмъ въ безвыходныя минуты унижаться передъ какимъ-нибудь скотомъ. Я очень слаба, еле двигаюсь, но думаю взять урокъ. Но что это? Страшно сознавать, что это

уже не борьба за жизнь, а метанія умирающей жизни:»

Жаранно прочитываю это письмо—и сила есть: сила презрѣнія и ненависти.

Нельзя сдаваться, пока жива эта дорогая женщина: это значить оказаться въ ея глазахъ трусомъ, добить ее. Она за меня. Всюду и вездѣ за меня и ради меня. А я? Мнѣ невыразимо больно думать, что письма жены коснется рука недостойнаго, осквернить самую большую изъ моихъ земныхъ святынь, но, что страшнѣе—отдать-ли, можетъ быть, въ грязныя руки письмо, или видѣть, какъ дорогую и больную женщину раздавитъ нужда и этотъ подвалъ?

Знаю я: для людей все обязательно, кром в обязанности походить хоть немного на настоящаго челов в ка,— на это люди идуть съ величайшим в трудом в и отлынивают в отъ этого при первом в ничтожном в предлог в.

Знаю я: скорѣе капля источить камень, чѣмъ тронется иное сердце человѣческое, но, беру листъ бумаги и пишу.

Можеть быть, и дрогнеть сердце! Можеть быть...

«Милостивый Государь. Нахожу лишнимъ много говорить отъ себя; прилагаю письмо своей жены и питаю надежду, что оно дастъ вамъ возможность вполнѣ понять: въ какихъ тяжелыхъ положепіяхъ бываютъ ниогда люди, На-дияхъ

жена прівдеть ко мнв. Больную туберкулезомъ легкихъ женщину ждутъ страшныя условія: если угодно убъдитьсязагляните въ мой подвалъ. Завъдующій редакцій вашего журнала около двухъ мѣсяцевъ поддерживалъ во мнѣ надежду на мъсто корректора при вашемъ журналь, но потомъ заявилъ мнь, что старый корректоръ остается. Я далекъ отъ мысли сталкивать съ мѣста человъка: если это возможно, не разръшите-ли вы трудъ вашего корректора подълить между мной и имъ пополамъ, ибо этотъ корректоръ мнѣ передавалъ, что ему одному трудно справляться со всей работой. Прошу подълить эту работу хотя на время—пока я не пріишу себѣ другого дѣла. Но если такое совмѣстительство окажется почему-либо съ вашей точки зрѣнія неудобнымъ-тогда не найдете ли при редакціи какого-нибудь другого для меня дала; не найдется при редакцін-не окажете ли поддержку трудомъ при вашихъ торговыхъ учрежденіяхъ» *).

^{*)} Этотъ господинъ—банкиръ; издавалъ лекалентскій курналъ, на которомь териѣлъ по 80,000 рублей въ годъ убытка—и все-таки издавалъ. Банкиръ? Читатель, вы скажете, что все это не ново. Вѣрно. Но развѣ отсюда слъдуетъ выводъ, что не нало объ этомъ говорить? Нало говорить!..

Я написаль. Вложиль свое письмо съ письмомомъ жены въ конверть—и вновь поколебался: стоитъ ли посылать? И вновь переломиль себя. Запечаталъ и отнесъ въ почтовый ящикъ.

Вернулся домой и посмотрѣлъ на свои руко-

Опять появилась застарѣлая, мучительная боль—та, что приходится нести не обработанныя вещи, черновики; та, о которой такъ недавно, когда обѣщалось мѣсто корректора, съ радостью думалось: «Вотъ поправлюсь обстоятельствами, отдохну, подкормлюсь отъ голодовокъ, не будетъ этой окаянной нужды—тогда то поработаемъ. До полнаго удовлетворенія!»

Увы, рухнуло мѣсто.

Опять эта застарълая боль и это бъщенство взять эти жалкіе листы бумаги, пойдти въ редакцію одного толстаго журнала, гдѣ мнѣ говорятъ, что у меня значительное дарованіе, но не берутъ моихъ вещей потому, что я ношу имъ не то, что подходитъ подъ ихъ направленіе взять эти жалкіе листки,—не плодъ свободнаго, ничѣмъ не придавленнаго творчества, а плодъ тоскливаго съ ума сводящаго отчаячія, и кинуть ихъ въ этой редакціи съ крикомъ: «Вы—слѣпщы: единственно вѣрный принципъ искусства тотъ, который раскрываетъ жизнь, а не скрываетъ, не крадетъ самого главнаго и важнаго; а вы именно это и дѣлаете—инотда по слѣпотъ, нногда съ умысломъ. Вы слишкомъ узки для того, чтобы вмѣстить въ себя большее, чѣмъ въ. И ищите себѣ только единомышленниковъ, а не талантовъ. Вотъ вамъ эти жалкіе листки—эти судорги больного и голоднаго мозга. Радуйтесь: добили!»

Безплодное бъщенство!

Люди рѣдко кричатъ такъ, какъ слѣдуетъ кричать: даютъ давить себя безъ шума.

Я беру свои жалкіе листки-черновики и несу въ одну редакцію; по дорогѣ вскользь замѣчаю, что нѣкоторые встрѣчные останавливаютъ на мнѣ свое вниманіе.

Это раздражало и думалось: почему? И ръшалъ, что виною мое дрянное пальто и лътняя шляпа: а морозъ свыше двадцати градусовъ!

Но, когда я передаль въ редакцію свой разсказъ съ просьбой просмотрѣть его, какъ можно поскорѣе, что мнѣ и было обѣщано, а при выходѣ изъ редакціи, случайнымъ взглядомъ въ зеркало узрилъ свою физіономію — я понялъ, что вниманіе дарилось не моему костюму: впалыя щеки, мутныя глаза, полные тяжкихъ-тяжкихъ ожиданій и тупой покорности—не человѣкъ, а призракъ.

Даже себя испугался. И непріятное чувство чувство противной жалости: такая забитость?!

Махаю рукой и, уже съ горькимъ чувствомъ отрываюсь отъ зеркала: вотъ оно литературное поприще-то!

Иду въ другую редакцію-туда, гдѣ говорятъ,

что у меня значительное дарованіе, — но по дорогѣ раздумываю и захожу къ писателю 3.

Даю ему разсказъ, который онъ уже читалъ и прошу, что не устроитъ-ли мнѣ онъ его куда нибудь поскорѣе.

Обѣшаетъ:

— Я его передамъ къ А. (Это къ тому, къ которому я раздумалъ идти). Этотъ разсказъ мягко написанъ и онъ его возьметъ.

Я противъ:

- Бога ради, къ кому нибудь еще, но только не къ А. Такое ужъ у меня предчувствіе: А. говоритъ мнѣ только комплименты, но разсказа у меня никогда не возьметъ.
 - 3. настаиваетъ:
- А я увфренъ, что этотъ разсказъ онъ долженъ взять.

Я говорю, что если З. ув вренъ—я покоряюсь. И ухожу домой.

У меня темь, хоть глаза коли. Холодъ. Зажигаю отонь.

Потомъ отогрѣваюсь чаемъ и сижу до поздней ночи, ожидая пріѣзда жены.

Каково будетъ первое впечатлѣніе у больной отъ этой обстановки—этого я себѣ не представляю: ужасъ пронизываетъ меня.

На другой день около девяти утра я быль пробужденъ грубымъ топотомъ ногъ: открываю глаза—рядомъ съ моей постелью дворникъ ставитъ дорожныя вещи, а около окна, снимая съ головы теплую шаль, стоитъ жена.

Я вскакиваю, торопливо одѣваюсь и помогаю раздѣться женѣ. Она мнѣ въ это время что-то говорить о дорожныхъ впечатлѣніяхъ, изъ чего я не упомнилъ и не понялъ ни одного слова: отдѣлывался короткими «Да?» и дрожалъ и отъ холода, и отъ радости встрѣчи и отъ страха, гдѣ эта встрѣча совершается.

Освобожденная отъ верхняго платья, жена слегка потянулась и застыла на минуту передо мной тонкая, вся отъ носковъ ботинокъ и до волосъ головы цѣльная тѣмъ строго-неприступнымъ изяществомъ, что сразу внушаетъ почтительное чувство и, чего у нея въ такой мѣрѣ не бывало, когда она была и здорова.

Я смотрю на нее—и обрадованный и испуганный — и молчу. Она замѣчаетъ мою радость и шутитъ:

 Ты, кажется, до того огорченъ моимъ прітіздомъ, что утратилъ способность рѣчи.

Съ робкимъ и виноватымъ чувствомъ, что я загубилъ жизнь этой молодой женщины, я молча тяну ее за руку къ себѣ и усаживаю на колѣни.

Она смъется:

— Воть, воть! Теперь я, гначить, легенькая!

Ахъ, дѣдъ-дѣдъ, не было для меня большаго огорченія, когда ты, когда то — припомни-ка, сколько разъ ты передо мною былъ въ этомъ виноватъ? —рѣшительно гналъ меня со своихъ колѣнъ прочь, а я сердилась на себя, что у меня такое тяжелое тѣло. Теперь я не давлютебѣ ногъ? Очень рада!

Хозяйка подаеть самоваръ.

За чаемъ я внимательно наблюдаю за лицомъ жены — украдкой: какое впечатлѣніе произвелъ на нее этотъ подвалъ, эта чудовищная нора — ходь въ него? Ничего. Точно этой страшной обстановки и не существуетъ. И лицо у ней новое. Свѣтлая прозрачность кожи, обаятельная тонкость худобы, блескъ непонятно чѣмъ живущихъ напряженно глазъ. — Она была странно-прекрасна.

И то, что жило во мнѣ съ первой встрѣчи съ ней, что эта женщина мнѣ безгранично дорога—вдругъ дрогнуло во мнѣ отъ боязни: казалось, что эта странная красота миражъ, оптическій обманъ, которая при первой же попыткѣ осязать ея — исчезнетъ, но оставитъ, оставитъ все свое тончайшее очарованіе затѣмъ, чтобы ты жилъ и мучился: о бывшей дѣйствительности будешь тоскливо грезить, какъ о прекрасномъ снѣ, и въ грядущее съ неутомимой тоской станешь вглядываться и станешь отчаиваться, что всѣ твои надежды — грезы!

Было великое счастье — и какъ бы не было:

уплыло, исчезло, а образъ его остался; будешь его искать и ждать, ибо тяжкое жизни иногда забывается, а прекрасное помнится, — оно внъ силъ и памяти человъка.

Я мягко и осторожно беру руку жены и пытливо заглядываю въ ея глаза: желаніе узнать, чъмъ такъ напряженно живутъ эти глаза теперь—выростаетъ уже до муки.

Я зналъ эти глаза, когда они горъли огнемъ страсти, гнфва, зналъ въ нихъ силу подавляемой боли, скрываемой тоски; я ихъ изучилъ когда то до того, что по выраженію ихъ угадывалъ ея незначительныя, внутреннія переживанія но теперь они были для меня неразрѣшимой загадкой: что-то уже неземное, безкрайнее танлось и свътилось въ ихъ свътлой бездонной глубинъ. Точно какое то великое спокойствіе, которому чужда вся та многообразная область чувствъ, гдф гифздятся страданія человъка. А это не вязалось съ моими представленіями. Я зналъ, какъ сильно жена любила ребенка и, хотя, когда похоронила его въ Крыму, писала мнъ, что нужно имъть мужество твердо пережить и этотъ ударъ-я все таки ожидалъ, что при встръчъ съ женою замъчу на ея лицъ не одну тяжкую тінь, наложенную этой утратой.

Но не было не только новыхъ тѣней, но стерлись и тѣ, что жизнь запечатлѣла до меня, когда еще жена была дѣвушкой, и при мнѣ.

И не допуская мысли, что она могла забыть о

смерти ребенка, я чувствую, что въ перемѣнѣ съ женою есть что большое и важное.

Начинаю говорить о томъ, какъ она меня обрадовала; что въ сравненіи съ тѣмъ, когда она уѣзжала въ Крымъ—она неузнаваема.

- Видъ у тебя тогда былъ ужасный: землистое лицо, а глаза—о нихъ уже я лучше помолчу. И сознаюсь:
- Откровенно скажу: я иногда думалъ, что больше не увижу тебя въ живыхъ.

Жена улыбнулась:

— Oro! Такъ ты меня уже хоронить собирался: на что, молъ, годна такая дохлая лошадь? А, если бы я и въ самомъ дѣлѣ умерла — полюбилъ бы ты кого нибудь вновь?

Я говорю, что не знаю, что на это сказать, ибо никогда объ этомъ не думалъ.

- Подумай.
- Ты съ ума сходишь?,
- Нисколько. Я еще поживу. Отъ меня, дъдъ, не скоро еще избавишься. Спрашиваю потому—вопросъ самъ по себъ интересенъ.
- Интересенъ? Вотъ, когда поправишься совсѣмъ-тогда объ этомъ поговоримъ.
- Не хочешь сказать. Ну, да, ладно. До поисковъ новой любви я тебя не допущу.

Я отмахиваюсь рукой:

— Эхъ, родная, какая тамъ «новая любовь?» Слава Богу, если не издохну подъ заборомъ. Жена неизмѣнно вѣритъ, что я выбьюсь. Раньше, когда я падалъ духомъ, она хмурилась, теперь и этого не было—съ улыбкой убъждала:
— Не будетъ этого. Върь мнъ: ты не изъ такихъ, которые скоро сдаются. Словомъ: мы

такихъ, которые скоро сдаются. Словомъ: мы еще поживемъ. Мнѣ всѣ доктора говорятъ, что я поправлюсь. Жаль, что не было возможности подольше побыть въ Ялтѣ. Ну, да, ничего. Около тебя я себя буду чувствовать тоже не плохо.

Помолчала. Еще свътлъе лицо, еще загадочнъе глаза—и тонъ милаго, беззаботнаго ребенка.

— Тоска безъ тебя была — страшенная. Бывало, если черезъ три дня отъ тебя письма и тъть, у меня повышается температура. А докторъ недоумъваетъ: «То почти нормальная, а то опять подъ сорокъ! Отчего это, сударыня»? Я, конечно, не говорила. Докторъ человъкъ ничего, хорошій; но я пе люблю въ наше счастье пускать кого бы то либо не было, кромъ своихъ души и сердца. Вотъ, когда созръю для литературы,— въ эту святыню я не побоюсь нести свои лучшія чувства!— тогда ты узнаешь, какъ я ревниво относилась ко всякому вторженію постороннихъ въ нашу жизнь. А любопытныхъ на это—въ особенности изъ моихъ подругъ по курсамъ,— было не мало.

Я молчу. Все-боль, боль и боль!

Она надъется поправиться—это при такихъто условіяхъ?! Она мечтаеть о литературь?!

Я въ эту минуту забываю, что искусство для меня тоже та святыня, куда я не побоюсь нести свои лучшія чувства; я забываю искусство и помню только страшное, разлагающееся литературное болото, которое засосало меня, успъло засосать и жену: за полгода до своей бользни она написала разсказъ и послала въ «Журналъ для всъхъ»; разсказъ приняли, но напечатанъ онъ не былъ: журналъ почему-то вскоръ пріостановился. Но это для жены было не важно: для нее было важно то, что это ея первая вещь—и эта вещь была принята.

Молодая жизнь будеть умирать тяжелье, чысть, если бы не было этой иллюзіи объ этой «святыны».

И до такой степени я въ эту минуту страстно ненавижу литературу, что мнѣ стоитъ большого труда удержаться отъ того, чтобы не предать эту святыню анафемѣ.

Жена помолчала. Отпила глотокъ чаю. И мягко коснулась рукой моихъ волосъ:

— A ты не только по прежнему, а кажется, еще болье грустенъ и мраченъ.

Я отзываюсь своей обычной въ тяжелыхъ моментахъ отговоркой:

- Нътъ... я ничего.
- Ну, какое тамъ «ничего». Развѣ я не вижу? Недаромъ я, видно, назвала тебя «дѣдомъ». Я люблю въ тебѣ эту сѣдую скорбь, но нельзяже такъ... постоянно! За меня не безпокойся.

Мы еще, дѣдъ, поживемъ. А въ какое время ты на занятія ходишь?

Я къ этому вопросу даже не подготовлялся: какъ ни подготовляйся — онъ все равно страшенъ.

Лгать я передъ женою тоже не могъ. И, какъ всегда, когда я бывалъ въ очень трудныхъ положеніяхъ, я прикрылъ ладонью лѣвой руки свой лобъ и молчалъ, думая, какъ бы объ этомъ помягче сказать.

По рукѣ на лбу жена уже поняла, что «съ занятіями» дѣло не ладно. Но тоже свѣтлое лицо, тѣ-же глаза—только голосъ сталъ строже:

— Дѣдъ. Ни-ни... ни на одну іоту не скрывай! Знаешь, сколько я въ своей жизни выстрадала? И горькимъ опытомъ научена, что на все, чтобы не случилось, нужно имѣть мужество смотрѣть прямо. Слышишь?

Низко понурилась моя голова, когда я каялся, какому подлому и глупому человъку я позволилъ провести себя за носъ.

— Почему ты меня объ этомъ не предупредиль? Не телеграфировалъ? Какъ мнѣ ни непріятно было быть на иждивеніи г. М., но я предпочла бы помириться съ ней на время, пока бы ты не пріискаль себѣ что нибудь еще.

Я всталь, и стояль передь женой пришибленный, недоумъвающій, что, какъ такая простая мысль не пришла мить своевременно въ голову. А потомъ припомнилъ, что эта мысль явилась по полученіи письма отъ жены первой мыслью, — но настолько эта мысль была непріемлема, что я не сталъ надъ ней и задумываться.

Припомниль и проснулось во мить то, что жило во мить всегда и прорывалось по временамъ неизбъжно и неумолимо, какъ смерть, — проснулось и заставило меня сказать больной женщинть жестокія и горькія слова:

— Не могъ я этого сдълать. Ты писала, что тобою тяготятся, что хочешь заняться уроками. До уроковъ-ли тебъ? Такъ, чъмъ конецъ тамъ, вдали отъ меня, на глазахъ тяготящихся тобою людей—я ръшилъ: если ужъ гибнуть — гибнуть вмъстъ.

Не одинъ мускулъ не дрогнулъ на свѣтлоспокойномъ лицѣ жены, но я зналъ, что чѣмъ ни болѣе она проявляетъ въ первые моменты самообладанія, тѣмъ значитъ глубже и больнѣе ударъ.

Такъ и вышло. Покрѣпилась минуты три, а потомъ заявила:

— Всс-таки я слаба еще. Когда увидъла тебя, — казалось, что дорога для меня пустяки, а теперь вижу, что радость-то-радостью, а двухъ суточный переъздъ тоже даетъ себя чувствовать. Пойду-ка я прилягу.

Встала и пошатнулась; я поддержаль и довель до постели. И когда помогаль ей улечься и замѣтиль, что она очень легка, то поддался безразсудному страху: хотѣлось схватить ее на руки и держать, убѣждаясь, что жизнь въ ней не такъ скоро таетъ, какъ мнѣ кажется.

И хотълось говорить: «Ты должна жить. Ты не можешь не жить. Понимаешь? Ты должна жить!

Она лежала въ раздумьъ; я это раздумье понялъ не такъ. Что то безконечно-спокойное и мудрое было въ это время на ея лицъ, и подъйствовало оно на меня, какъ великая тишина пустого храма, гдъ гръшникъ чувствоваетъ потребность покаяться, — одинъ передъ лицомъ Бога.

И тихо я началъ:

— Родная, можеть быть, я и жестокъ; можеть быть, для тебя было бы лучше, если бы ты не прівзжала. Но очень ужъ тяжела была мысль, что ты тамъ въ тягость. Прости.

Все въ томъ же раздумъѣ жена сказала:

— Ахъ, дѣдъ. Ну, къ чему это? Какъ я могу упрекать тебя? Развѣ я не взвѣсила прежде, чѣмъ связать себя съ тобой — съ кѣмъ я себя связываю? Для меня одно хорошо: какимъ ты былъ, такимъ и остаешься. Упрямый ты у меня.

Помолчала:

— А потомъ и я... все равно я тамъ долго бы не выжила. Не выношу помощи той, которая оказывается только потому, что не хватаетъ духу прямо заявить, что помогать нѣтъ никакого желанія. Ну, ихъ къ чорту съ такой помощью!

Послѣдняя фраза звучитъ рѣзко и сурово. Но черезъ минуту жена уже улыбается и, шаловливо запуская руку въ мои волосы, уже шутитъ:

— Возись-ка вотъ теперь со мною: это тебь въ наказанье. Доволенъ ты этимъ или нѣтъ— объ этомъ и думать не хочу. Я у тебя отдохну! Когда я жила у своихъ милыхъ знакомыхъ— Боже мой, какъ они меня мучили своимъ вниманіемъ. Не люди, а деревяшки. Иногда ребенокъ пойметъ, что я устала, что мнѣ нуженъ отдыхъ, а они допекаютъ: «не жалуйтесь потомъ, что у насъ вамъ было скучно». Тяжело жить съ не чуткими людьми.

Закрыла глаза.

— Уморили своими разговорами. Зато у тебя отдохну. Ты на слова, дѣдъ, скупъ. Это иногда хорошо. Ну, я собираюсь спать. Считай себя часа на три свободнымъ.

Я встаю, чтобы отойдти отъ постели. Не открывая глазъ, она спрашиваетъ:

- Это зачьмъ?
- Я буду глазъть на тебя, а это нарушаетъ сонъ.
- Пустяки! Сядь около меня и дай свою руку. Когда любимый смотрить— сладко засыпать. Воть, когда ждешь его, тогда другое дъло: сразу проснешься. Великая штука — чувства человъка. Не отнимай руки. Такъ лучше.

Она скоро засыпаеть. Дыханіе ровное, спокойное. Жадно я смотрю то на ея лицо, то отрываюсь отъ него. Перемѣна къ лучшему въ теченіи болѣзни у кей настолько значительна, что и я вѣрю, что она можетъ поправиться, но... и отчаяніе, и ужасъ, и бѣшенство!

Сколько паразитовъ подло и долго проживаютъ жизнь—а вотъ для такихъ преждевременныя могилы.

И минутами мнѣ становилось жутко. Никогда у меня не было такого чувства, а тутъ... хотълось вѣрить въ существованіе такого Бога и взывать къ нему—къ Богу, карающему до седьмого колѣна.

Но кары такого Бога нѣтъ—а ужасъ на лицо: гибнетъ самое дорогое, то—утрату чего со всѣми ея послѣдствіями себѣ не представляешь.

«Что дълать?»—отъ этого вопроса у меня начинаетъ нестерпимо болъть мозгъ.

Мив кажется, что я способень украсть, убить все, что угодно, но лишь бы вырвать жену изъ этой ямы; но гдв украсть, кого убить—на это надо случай, а его нвть и ждать некогда.

Потомъ является мысль—и я хватаюсь за нее, какъ за якорь спасенія. Тихо высвобождаю свою руку изъ руки жены, присаживаюсь къ столу и пишу въ одну знакомую редакцію газеты письмо и сношу его въ почтовый яшикъ.

Женг проснулась подъ вечеръ; сонъ ее подкрѣпилъ и освѣжилъ: на щекахъ теплился легкій румянецъ, глаза стали еще болѣе непроницаемо спокойны. Пили чай.

Чтобы не подать жент вида о рот мучившихъ меня думъ, начинаю разспрашивать ее о вынесенныхъ ею впечатлтніяхъ изъ Крыма, а потомъ по взгляду жены понимаю, что насиловать себя—лишнее: она взглянула на меня и улыбнулась той мудрой улыбкой, которая напомнила мнт мою мать, когда я въ чемъ нибудь ее хоттл провести. Тогда я обрываю ненужную болтовню и ближе придвигаюсь къ креслу жены.

Она помолчала—и внушительно:

— Ну, вотъ, такъ-то лучше. И смотри у меня: не мучай себя. Что такое этотъ подвалъ? Неужели изъ него не вырвемся? Придвинься комнъ еще ближе. Не бойся—такія вещи боли непричиняютъ.

Я придвигаюсь вплотную.

— Вотъ такъ хорошо? Что подвалъ, когда мы имѣемъ то, чего нѣтъ въ иныхъ палатахъ. Развѣ наше счастье не стоитъ того, чтобы мы за него боролись?

Съ сознаніемъ, что съ тѣхъ поръ, какъ эта больная теперь женщина, встрѣтилась мнѣ на моемъ пути, она во всѣ трудныя минуты была для меня той неизсякаемой силой, которая безъ устали поднимала меня, когда я падалъ, поднимала и все шире и шире открывала міръ, куда бы я безъ нее не заглянулъ—я долгимъ поцѣлуемъ приникъ къ ея рукѣ съ тѣмъ благоговѣйнымъ трепетомъ, который выплылъ изъ ранняго

дѣтства: привела меня мать въ храмъ ко всеношной и, когда всенощная кончилась, указала мнѣ на темный и скорбный ликъ въ золотой ризѣ и строго сказала: «Приложись».

У жены милое въ охватившемъ ее смущеніи лицо; не часто я цѣловалъ у нея руку—и всегда она протестовала:

— Не надо цъловать рукъ. Не надо. Мнъ право... какъ то отъ этого совъстно.

Говоритъ это она и теперь. Я упрекаю ее, что она неисправима и, съ улыбкой разсказываю, каково было ея лицо, послѣ перваго моего покушенія на ея губы.

Ея лицо точно вдругь на нѣсколько лѣтъ старѣетъ и, строго она проситъ:

— Не смѣйся надъ этимъ. Знаешь, сколько я видѣла до жизни съ тобой холода, звѣриной—хуже!—жестокости и злобы отъ людей? И мнѣ неудивительно, что у меня иногда является мысль, когда ты не со мною, боязнь, что наше счастье—сонъ. Закроешь глаза и страшно ихъ открыть: а вдругъ ничего этого не было?

«Наше счастье?»

Я вздрагиваю; меня пронизываеть жесточайшее чувство раскаянія и стыда, что я загубиль эту жизнь, что есть еще возможность спасти ее—но спасу-ли?

И внезапно, почти грубо, я отодвигаюсь отъ жены и поспѣшно предлагаю:

— Хочешь, я что нибудь почитаю? У таня есть новинки? Андреевъ...

Спокойнымъ жестомъ жена обрываетъ меня и проситъ състь онять рядомъ.

— Ахъ, дѣдъ, дѣдъ, вѣдь, ты хорошо понимаешь, что теперь намъ не до новинокъ. Развъ намъ теперь важно знать, что вновь написалъ Андреевъ? Развѣ онъ намъ скажетъ хоть объ одной тысячной того, что мы сейчасъ переживаемъ? Ты забываешь, что я тебя четыре мфсяца не видала, не чувствовала, что ты около меня, -- встъ такъ, какъ теперь? Однажды ты мнѣ сказалъ, что главная книга, на которой человъкъ долженъ учиться—это Евангеліе! Върно! Но есть и еще книга, — тоже глубочайшая и интереснъйшая, въ которой все: и повъсть, и романъ, и комедія и трагедія-это человѣкъ, умъющій въ себъ читать все, что внутри его записала и пишетъ жизнь. Будемъ, дѣдъ, молчать и читать себя. Лучше этого намъ никто сейчасъ ничего не скажетъ.

У меня накипають слезы и... вдругъ проходять. Такъ велико счастье чувствовать около себя эту больную женщину, что я забываю, что сегодня днемъ меня порывало женѣ говорить, что она «должна жить... не можетъ не жить»— забываю и говорю:

— Вся бѣда, всѣ муки человѣка въ томъ, что онъ на счастье слишкомъ жаденъ.

И я сознаюсь женъ, что и раньше это чув-

ство бывало, появилось оно и теперь: умереть бы намъ въ это время вмѣстѣ? а.

Она подтвердила кивкомъ головы.

И, такъ, прижавшись другъ къ другу, боясь малѣйшимъ движеніемъ нарушить это очарованіе, мы сидимъ долго, сидимъ выше жизни, выше смерти, сидимъ совершенно забывая о томъ, «тдп мы?» сидимъ не чувствуя, какъ каждый кирпичъ подвала неустанно точить на насъ холодъ уничтоженія.

Поздно. Жена утомилась. Пора спать. Мы встали и взгляды наши встрѣтились—и головы поникли: «Мы люди. Мы слишкомъ жадны: мы моментами выше жизни, выше смерти но моментами—пройдутъ они и мы—ниже счастья!»

Жена скоро заснула, я долго не спалъ, думая все объ одномъ и томъ же: неужели этотъ подвалъ для жены будетъ предверіемъ въ могилу?

Черезъ день въ газетѣ появилось то, что мнѣ было нужно. Жена была еще въ постели. Пришлось пережить мучительный моментъ: показать ей это или скрыть? Очень хотѣлось скрыть, но являлось опасеніе, что скрыть отъ жены вообще что либо—трудно; во-вторыхъ, если она узнаетъ, то не хуже ли будетъ отъ того, что она къ этому не была подготовлена?

Рѣшаю, что скрывать—хуже; подаю женѣ газету, указываю ей на нужное мѣсто и говорю:

— Вотъ, прочти. Можетъ быть, это дастъ намъ возможность выйти изъ труднаго положенія.

Въ отдѣлѣ «Вниманію добрыхъ людей» было напечатано:

«Отъ одного молодого литератора, лично редакціи извъстнаго *), мы получили письмо, изъ котораго и приводимъ нѣкоторыя выдержки. Литераторъ пишетъ: Обитаю въ подвалѣ; сыро, холодно, темно. Если бы я въ немъ былъ одинъ-это бы не важно: пріфхала жена-у ней туберкулезъ легкихъ. Слаба она до крайней степени. Подвальное помѣщеніе, помимо тяжелаго физичесскаго воздѣйствія, очень угнетающе вліяетъ и на ея психику. За послъдніе четыре мѣсяца я искалъ вездѣ какого нибудь дѣла, мѣста—(не исключая и административныхъ учрежденій)—и всюду безрезультатно. Усталъ отъ такой жизни».

Дальше редакція поясняла, что авторъ письма тоже боленъ хроническимъ ревматизмомъ и приглашала добрыхъ людей къ пожертвованіямъ и предложеніямъ труда.

^{*)} Въ этой редакціи я немного сотрудничаль. Объ этомъ рѣчь будеть впереди.

Когда жена читала эти горькія строки, я видѣль, какъ ея блѣдныя щеки вспыхнули краской.

Прочла, и, послѣ довожьно долгаго молчанія, сказала:

— Представляю себѣ то твое состояніе, при которомъ ты рѣшился на такую просьбу. Но не лучше ли тебѣ было бы обратиться къ знакомымъ литераторамъ? Вѣдь, у тебя все таки не мало изъ никъ знакомыхъ.

Я отмахиваюсь рукой и говорю, что знакомыхъ то изъ литераторовъ у меня, вѣрно, не мало; но изъ всѣхъ этихъ знакомыхъ я въ силахъ пойти только къ двоимъ, а эти двое какъ разъ люди не очень состоятельные и дать намъ серьезную поддержку не могутъ.

А остальные:

— Къ нимъ приди просить помощи—они будутъ кормить поученіями. Литераторы изъ тѣхъ, которые любятъ слово «нужда» только тогда, когда имъ это слово приходиться склонять во всѣхъ числахъ и падежахъ на бумагѣ.

Первыя слова «о литераторахъ» я произнесъ спокойно, съ легкой ироніей, но потомъ—вско-лыхнулась застарѣлая боль, глаза помутнѣли.

И должно быть, я быль очень страшенъ: газетный листъ выпадаетъ изъ рукъ жены, она беретъ меня за плечо и начиная трясти, испуганно проситъ:

 Дѣдъ, прости! Такая я теперь неосторожная, забывчивая. Прости. Я съ усиліемъ перевожу на нее глаза, точно просыпаюсь отъ тяжкаго сна:

- Простить? Въ чемъ?
- Я даю тебѣ слово больше не касаться до твоихъ больныхъ мѣстъ. Не надо такихъ глазъ... Я боюсь... такъ можно сойти съ ума. Слышинь?

Я хочу уяснить себъ, что мнъ сказано—и не могу. И молчу.

— Что же ты молчишь?

Я недоум ваю:

- О чемъ мнѣ говорить?
- О чемъ? Негодуй, злись, кричи, когда тебъ очень больно—но не молчи.

Я, наконецъ, жену понимаю и, слабо улы-баясь, говорю, чтобы она не безпокоилась:

- Это ничего. Развѣ это впервые? Но довольно объ этомъ. Дѣло не во мнѣ. Дѣло въ томъ, чтобы поскорѣе отсюда выбраться. Вѣдь, такъ?
- Конечно. Но не надо такихъ глазъ. Ну, ихъ всѣхъ къ чорту!

Тонъ у жены энергиченъ, но ни злобы въ немъ, ни ненависти—какой то дътскій задоръ до того, что я опять улыбаюсь, вполнъ овладъваю собой и замъчаю, что проявленное больной возбужденіе обезсилило ее совсъмъ.

Я укладываю жену въ постель—и въ это время у меня является мысль, которая мит ка-

жется очень большой и соблазнительной; и прикрывая эту мысль шуточнымъ тономъ я высказываюсь:

— Настоящій ты у меня «Атаманъ-буря». Разбойничаешь страшно храбро. Скверно, родная, одно: ты больешь—я ньть. Хорошо бы, если и я быль бы боленъ тымь же, чымь и ты щеголяли бы тогда однны переды другимы примьрами мужества...

Остро жена глядить на меня:

Дѣдъ, это значитъ быть побѣдителями?
 Посмѣяться послѣдними? Да?

Я ей смотрю тоже прямо въ глаза:

– Хотя бы и такъ.

Она смъется и начинаетъ весело, вызывающе:

"Не стая вороновъ слеталась На груды тлѣющихъ костей За Волгой шайка собиралась...

Потомъ вдругъ обрывается; хватаетъ меня за руку и, сжимая съ судорожной силою, страстно бросаетъ:

— Смерть не страшна, но и жить безумно хочется. Я не могу себъ представить, какъ ты останешься одинъ—безъ меня. Если бы я была здорова, чего мы съ тобой вдвоемъ не преодолъли бы? О, черти...

Я вижу, какъ сквозь плотно сомкнутыя вѣки жены пробиваются слезы и вернувшееся было ко инѣ самообладаніе, вновь покидаетъ меня.

Въ тоскъ и бъшенствъ, съ заломленными от безсилья за затылокъ руками, я стою нъсколько секундъ передъ постелью, не видя ни жены, ни постели: всъхъ видълъ, кто только содъйствовалъ моей гибели и гибели жены.

Потомъ одѣваюсь и выхожу изъ дому. Черезъ пять минутъ я въ редакціи. Меня встрѣчаетъ завѣдующій съ непокорнымъ вихромъ волост:

- А, здравствуйте. Чёмъ могу служить?
- Вы ничѣмъ. Мнѣ нуженъ издатель. Когда онъ здѣсь бываетъ?
- -- Онъ уже утхалъ. Но я знаю въ чемъ у васъ дто къ нему...
 - —Вы?!—и я широко открываю глаза.
- Да, да, я. Вышло это совершенно случайно: издатель прочелъ ваше письмо и бросилъ на мой столъ, а я думалъ, что это какое-нибудь дъловое письмо, относящееся ко миѣ и тоже прочелъ. Какъ видите: неделикатность не моя.

И подаетъ мнѣ письмо и письмо жены; я смотрю на эти письма и, совершенно растерянно спрашиваю:

— Но позвольте. Зачѣмъ же къ вамъ на столъ? Можетъ быть, онъ поручилъ вамъ отвѣтить мнѣ?

Въ тонъ завъдующаго злорадная усмъшка:

— Нътъ. Къ чему же отвъчать: къ дъламъ редакціи ваше письмо не относится. Просто: прочелъ издатель ваше письмо и бросилъ.

Я ошеломленъ. Тупо стою на одномъ мѣстѣ и думаю, что мое письмо это еще туда-сюда, но письмо жены... Такъ больна была одна мысль отдать ея письмо въ незнакомыя руки—и воть... Кто это дѣлаетъ? Лицо, издающее журналъ, терпящее на изданіи до ста тысячъ въ годъ убытка... Какой же долженъ быть негодяй? *) Бросить письма, письма, гдѣ съ первыхъ строкъ видать, что это письма интеллигентныхъ людей, бросить на виду у всѣхъ... подходи, кому угодно, бери грязными руками и безъ боязни залѣзай въ ужасъ двухъ гибнущихъ, загнанныхъ душъ?!

Я ошеломленъ. Тупо стою на одномъ мѣстѣ и, наконецъ, вижу, что въ редакціи, кромѣ завѣдующаго, еще двое лицъ, наблюдающихъ за мной съ любопытствомъ.

Тогда я ухожу изъ этой редакціи.

Иду. Куда?—Этого не знаю. Но чувство знаетъ дорогу и, когда оно меня останавливаетъ около одного дома—я отдаю себъ отчетъ въ томъ, зачъмъ я пришелъ сюда, что мнѣ надо.

Медленно я поднимаюсь на четвертый этажъ,

^{*)} Раньше, широкія «купецкія» натуры били въ ресторанахъ зеркала—платили за убытки и считали, что дѣло нокончено. Теперь не то. Это лицо тоже бьетъ въ ресторанахъ зеркала, (традиціи то крѣпки!) а потомъ заявляеть «Какъ культурный человѣкъ считаю своимъ нравственнымъ долгомъ—извиниться». Культуренъ—а зеркалъ не бить не можеть!

звоню, мнѣ отпираетъ дверь, какъ разъ тотъ, кого меня потянуло видѣть.

Пока я снимаю пальто и калоши, З. стоитъ въ двухъ шагахъ отъ меня—въ своей обычной при такихъ случаяхъ позѣ: голова немного на-клонена впередъ.

Много въ этомъ наклонѣ головы не простой вѣжливости, не обычнаго приличія—а настоящаго радушія, сердечной теплоты.

Я начинаю любить этого человѣка нѣжно и мучительно. Уже не разъ битый, оплеванный въ своихъ привязанностяхъ— я боюсь и за это чувство: а не ждетъ ли меня и здѣсь горькая ошибка? Вѣдь, разу отъ разу за нихъ расплачиваешься все больнѣе.

Мы идемъ въ кабинетъ. Я сбоку смотрю на З. и думаю: «Милый. Все такой же неизмѣнный, какъ и въ первый день знакомства».

Садимся. Закуриваемъ. Взгляды наши встръчаются.

Люблю я наблюдать за лицомъ З.: глубокое и мягкое раздумье полей, когда съ нихъ сняты посѣвы, чудилось мнѣ въ его лицѣ.

— Ну, какъ живете?—спрашиваетъ З., а потомъ спохватывается:— Да, а какъ насчетъ того мъста, куда я вамъ давалъ письмо?

У меня чувство: больно огорчать этого человать. Хоталось бы чамь нибудь его порадовать; но порадовать нечамь,—и тономь, даже сълегкой улыбкой, точно не получение этого ма

ста для меня большого значенія не им'єть, я передаю ему, какъ провель меня зав'єдующій редакціей.

Помолчали.

- Но этого мало, добавляю я и передаю 3.
 свое письмо и письмо жены: —прочтите эти письма.
- 3. читаетъ. Прежде мое, потомъ жены; на лицъ отражается содержаніе писемъ. Помолчалъ и спросилъ:
 - Да. Ну, и что же?

Я утыкаюсь взглядомъ въ уголъ кабинета и передаю исторію съ этими письмами.

Я кончиль. Лицо З. темиветь. Мы долго молчимь, боимся взглянуть другь на друга: обоимъ намъ и стыдно и больно, что въ мірв живеть такая мерзость!

Потомъ З. минутъ на пять уходитъ изъ кабинета:

— Простите, я на минуточку.

Это тоже умѣстно. Я смотрю ему вслѣдъ и думаю: сколько разъ я приходиль кь нему въ гнѣвѣ, въ злобѣ, въ отчаяніи—не на него, а на другихъ—и никогда не высказывался такъ рѣзко, какъ бы высказался въ другомъ мѣстѣ? Иногда даже больше: приду и ничего не скажу. Стоитъ мнѣ увидѣть его лицо, побыть двѣ три мниуты въ тишикѣ его кабинета—и все мое горькое уходитъ въ ту глубину той тихой, молчаливой скорби, которую, можетъ быть, можно

выразить только въ музыкт, но не звукомъ человтическихъ словъ — они грубы для этого.

- 3. возвращается. Что-то тихое, кроткое пришло въ душу, пока его не было, тихое и кроткое, какъ тишина лѣтнихъ ночей—и чтобы неспугнуть этого настроенія дальнѣйшей бесѣдой о моихъ дѣлахъ—тяжкихъ, безрадостныхъ,—я встаю и протягиваю руку.
 - 3. наклоняетъ голову:
 - Уже уходите?
 - Да, тамъ ждетъ жена.

Тихо бреду я домой. Мысли мои заняты З. Я не жду отъ этого человѣка ничего, что могло бы меня вывести изъ полосы гибели; лично онъ человѣкъ далеко необезпеченный и, въ крайнихъ случаяхъ къ нему можно придти за помощью въ десять-пятнадцать рублей—не больше; оказать поддержку черезъ другихъ—это тоже не его сфера: попросить—попроситъ, но черезъ чуръ мягко, деликатно—но часто ли въ наше время добъешься помощи такими средствами?

Жесткими и сильными словами нужно будить совъсть современнаго человъка — для мягкихъ и деликатныхъ словъ онъ слишкомъ огрубълъ.

Тихо я бреду домой отъ З. Много мыслей у меня вызываетъ этотъ человѣкъ,—и за, и противъ,—но въ главномъ я ему вѣренъ: онъ не чуждается отъ загнанныхъ жизнью, и если я не

погибну, я убъжденъ, что онъ искренно за меня порадуется.

А это уже—человѣкъ—и въ наше время рѣдкій человѣкъ! Въ моей душѣ—чувство большой, покорной усталости: не будь жены—въ такія минуты можешь уйти изъ жизни. Но вотъ домъ, гдѣ живу. Вонъ тотъ домъ—та редакція, гдѣ я былъ два часа тому назадъ. И нѣсколько минутъ я смотрю на эту редакцію.

«Сейчась я встрѣчу жену. Что ждеть ее? Гибель. Въ силахъ ли я простить эту утрату? Или забыть... ея письмо, брошенное негодяемъ въ людномъ мѣстѣ на показъ всѣмъ желающимъ?»

Сжимались кулаки. Сжимались до боли зубы и подавленно рокоталъ гнѣвъ...

Наконецъ, я вбираюсь въ свое жилье. Въ проклятой ямѣ уже темно. Жена отъ холода прячется въ постели. Зажигаю огонь и вижу: до страха давитъ ее обстановка. Мой приходъ ее подбадриваетъ:

Дѣдъ, такъ долго? Гдѣ это пропадалъ.

Я лгу, что ходилъ узнавать на счетъ разсказовъ; на счетъ писемъ—ни слова.

Падаетъ манна съ неба: изъ редакціи является посыльный и вручаетъ мнѣ подъ росписку 15 рублей, добавляя:

— Это вамъ пожертвованія.

Посыльный уходить.

Сколько?—спрашиваетъ жена.

Я передаю ей молча «присылку» и руки мом дрожать отърода помощи: общественный нишій!

Жена смотрить на меня, потомъ на деньги и, вновь вопросъ:

- А сколько у насъ капиталовъ оставалось?
- Рубль съ копъйками.
- Чего-жъ ты хмуришься? Значитъ, кстати. Помодчала.
- Вотъ что, дѣдъ. Я понимаю твою боль: тяжело просить помощи у читателя, а не у писателя. Но примирись же ты, наконецъ, съ тѣмъ, что когда эти писатели говорять начинающему о его дарованіи—это одно, а поддержать начинающаго, не дать ему опуститься до тяжелой обстановки—это другое... Я знаю: большинство изъ этихъ господъ ты презираешь, но почему ты не можешь допустить, что и я тоже могу презирать?

Засмѣялась:

— Подумай хорошенько: намъ при нашемъ положеніи или нужно мириться со всѣмъ, или... давай вмѣстѣ повѣсимся?

Я улыбаюсь и цѣлую руку жены. Гордая и злая сила просыпается во мнѣ:

- Ну, на это то я пока не согласенъ.
- Не хочень? Я тоже не хочу. Такъ чего же голову вѣшать? Ахъ, дѣдъ. Знаю я твою жизнь, ты знаешь мою. Мы, если хорошенько разобраться, въ сущности, всегда вѣдь въ жизни пради «ва—банкъ!» Будемъ продолжать въ

этомъ же родѣ. Прежде всего нужно выбраться отсюда: ради этого дѣйствуй такъ, какъ заблагоразсудишь. Ну, вотъ и все. Какъ это говориться: вотъ тебѣ мое сказанье и лѣтопись окончена моя... Такъ что ли? Я теперь страшно забывчива. Давай, дѣдъ, мнѣ чаю. Вѣрно ли я сказала на счетъ нашихъ дѣлъ? а?

Я вновь тянусь къ рукѣ жены, но она прячеть ее подъ одѣяло:

— За какія особенныя заслуги? Назвалась груздемь—полѣзай въ кузовъ. Давай чаю!

Пьемъ чай. Болтаемъ, вспоминая старину: ту, когда я еще не совалъ носа въ литературу, а только думалъ объ этомъ.

Послѣ чаю жена укладывается въ постель, —а я сижу и пишу, увеличивая груду черныхъ, злосчастныхъ листовъ.

Потомъ устаю отъ нихъ и думаю.

Присланные деньги породили маленькую надежду. Соображаю, что сегодня только еще первый день, а пожертвования уже есть. И съчувствомъ, что, если мнѣ дадутъ возможностьподнять на ноги жену, я всѣ свои мытарства предамъ забвенію—съ такимъ чувствомъ я ложусь спать.

На другой день я ѣду въ контору редакціи и покупаю десятокъ тѣхъ № газеты, гдѣ я н жена фигурируемъ въ отдѣлѣ «Вниманію добрыхъ людей».

Когда то, когда жена билась въ Крыму на 25 рубляхъ въ мѣсяцъ, одна дама изъ буржу-азнаго міра сдѣлала попытку увѣрить меня, что изъ богатыхъ людей — очень много очень добрыхъ людей.

Я сомнъвался.

— Напрасно. Вообще, вы слишкомъ предубъждены противъ имущихъ классовъ!

Что «слишкомъ»—я не соглашался и съ этимъ. Она захотъла меня побъдить:

— Хотите, я вамъ дамъ адреса нѣсколькихъ богатыхъ людей? И вотъ, напишите имъ о своемъ бѣдственномъ положеніи и о положеніи своей жены—и я увѣрена, что спасутъ и васъ и вашу жену. Не нужно такъ безнадежно смотрѣть на богатыхъ. Они часто не дѣлаютъ того, что могли бы сдѣлать только потому, что не знаютъ, гдѣ истинная нужда.

Я взяль у этой дамы адреса—но написать о своей нуждъ ни одному лицу такъ и не ръшился.

Теперь... я за эги адреса ухватился. Съ утра уже начало грызть сомнѣніе: а если ничего—ни денегъ, ни мѣста?

Потомъ, многіе изъ богатыхъ людей вѣдь не всѣ газеты читаютъ: ту газету, въ которой я взываю о помощи, многіе и въ рукахъ не видятъ.

Я вырѣзаю изъ «горькаго» для меня № отдѣлъ «Вниманію добрыхъ людей» и даю еще приписки: «если у васъ явится сомнѣніе въ правдивости того, что я писалъ въ газетѣ о своемъ положеніи и о положеніи своей больной жены— прошу убъдиться лично».

Затъмъ давалъ адресъ свой и вкладывалъ въ конверты эту приписку вмъстъ съ выръзкой.

Девять писемъ—все къмиллюнерамъ, къ прославленнымъ благотворителямъ!

Заклеилъ конверты. Наклеилъ марки. На минуту нерфшительность: отъ представленія того, что переживетъ жена, когда явятся благотворители, чтобы «убфдиться лично»—закружилась голова, потемнъло въ глазахъ.

Но припомниль, какъ она спить: только я, да холодная, сырая тишина подвала слышимъ въ ея дыханін хрипы и сухой, колючій трескъ.

Припомнилъ, взялъ письма и понесъ ихъ въ почтовый ящикъ: сгорбившійся, съ поникшей головою.

Прошло четыре дня.

Изъ редакціи—ничего; благотворители—налрасно и этого, значитъ, боялся!—никто не явмялся.

Я вновь пишу въ редакцію письмо съ просьбой повторить.

Редакція на другой день повторяеть:

«Въ № 64 нашей газеты мы помѣстили выдержки изъ письма молодого литератора, обрѣтающагося въ крайней нуждѣ. Откликъ на наше обращеніе былъ такъ слабъ, что литератору до сихъ порт не удалось выбраться изъ сырого подвала, гдѣ ютится онъ съ больной женою. Редакція еще разъ напоминаеть о его тяжелой нуждѣ и проситъ всѣ предложенія труда и денежныя пожертвованія направлять въ контору нашей газеты*).

Я одинъ: жена въ больницѣ. Болѣе двухъ недѣль я не занесъ въ свои записки ни одной строки—была даже надежда, что больше и не занесешь. Но нѣтъ,—запискамъ еще не конецъ. Я одинъ и мнѣ больше нечего дѣлать, какъ продолжать этотъ апонеозъ «униженныхъ и оскорбленныхъ»!

Къ женъ вновь вернулись угрожающіе симптомы: жаръ и испарины.

То, отсутствіе чего и меня и ее такъ радовало.

— Дѣдъ, вѣдь, это же самый лучшій признакъ того, что организмъ начинаетъ брать верхъ надъ болѣзнью. Когда у меня въ Ялтѣ начала

^{*)} Но и это повтореніе не помогло. Тиражъ этой газеты стояль на высотѣ до ста тысячь!

Развѣ не чудовищное время?!

понижаться температура и исчезать испарины, докторъ заявилъ: «Поздравляю. Для меня теперь несомнѣнно: вы выдюжите!»

Эти явленія заставили меня метнуться въ клиники и получить отказъ: «Рождество на носу. Пріемъ больныхъ прекращенъ; да и послъ праздниковъ сомнительно: клиники переполнены»

Когда я сообщиль объ этомъ женѣ—она печально улыбнулась:

 До Рождества еще двѣ съ лишнимъ недѣли. Охъ, люди!

И отвернулась лицомъ къ стѣнЪ.

Не вѣря ни въ кого—я дѣйствую на два лагеря. Пишу драматургу Ю. о своемъ положеніи и прошу помочь въ устройствѣ жены въ клиники какъ можно поскорѣе.

Въ это время у меня въ цензурѣ была пьеса, куда я отправилъ ее по его совѣту.

Потомъ иду къ редактору журнала А. Когда то на этого человѣка я засматривался; а въ первую встрѣчу онъ меня даже поразилъ.

Мягко вибрирующій голось; фигура стройна, манеры, жесты—подкупающе изящны.

Думалось, что этотъ питомецъ культуры не только внѣшне выхоленъ ею, но и одухотворенъ. Но узналъ я этого питомца поближе и началъ надъ нимъ задумываться, а потомъ далъ себъ слово къ нему не ходить.

Однако пришлось.

Разсказалъ я ему въ какомъ положеніи нахожусь съ женой и попросилъ:

— Не можете-ли вы мнѣ устроить ее въ клиники? Вамъ профессоръ (имя рекъ) знакомъ.

А. слегка пожалъ плечами; выраженіе изящномилой готовности на лицѣ подернулось дымкой скуки и досады.

— Наврядъ-ли я туть буду вамъ полезенъ. Почему вы не отнесетесь съ этой просьбой къ Ю. Онъ очень вліятельный человѣкъ. Ему это не составитъ никакого труда.

Я молча махнулъ рукой.

Молчаніе. То, когда люди начинають чувствовать себя неловко.

А. не выдержалъ и заговорилъ:

— Въ чемъ могу быть полезенъ — это, когда принесете разсказъ. Если вещь подойдетъ — я возьму отъ васъ съ удовольствіемъ.

Я напомнилъ ему, что мой разсказъ у него им вется—тотъ, который ему передалъ писатель 3.

— Какъ же, я помню. Но все время быль занять и не успѣлъ его просмотрѣть. Сдѣлаю это сегодня, или завтра.

Слабая, блёдная надежда вспыхиваеть во мнё: можеть быть возьметь этоть разсказь и дасть авансь!

И тономъ—тѣмъ покорнымъ и печальнымъ тономъ, когда человѣкъ совершенно раздавленъ,—я начинаю его просить:

— Ю. И. я васъ предупреждаю, что разсказъ

у васъ — это черновикъ. Мнѣ больно таскать на просмотръ редакціямъ необработанныя вещи, но давитъ нужда, давитъ ужасъ... Вотъ жена... Поймите мое отчаяніе, когда я вижу, какъ она глбнетъ въ сыромъ и холодномъ подвалѣ. Поймите...

У меня никнетъ голова.

— Бога ради, (впервые въ жизни я произнесъ эти слова) Ю. И., если разсказъ окажется съ дефектами, но не съ такими, когда весь разсказъ не годенъ, а съ такими, когда они поправимы— Бога ради, не поддержите-ли вы меня такъ: я выправлю вещь по вашимъ указаніямъ, а вы мнѣ дадите подъ нее не большой авансъ. Не большой. Рублей въ 25—30. Главное у меня— это вырвать больную жену изъ подвала.

А. помолчалъ и неопредъленно отозвался:

— Посмотрю.

Потомъ спохватился:

— Ахъ, да. Вашъ разсказъ ко мнѣ принесъ З. Я, собственно, не понимаю: почему вамъ непремѣнно пужно посредство З?.. Мы съ вами давно уже знакомы и, думаю, что надобности въ посредникахъ у насъ не имѣется.

Въ голосѣ А. звучало явное неудовольствіе, которое заставило меня задуматься: почему ему это не понравилось?

Какъ критикъ — А. большой поклонникъ таланта З.; и никто, пожалуй, болѣе не содѣйствоваль извъстности З., чъмъ А.: онъ первый заговориль о З., какъ о «восходящей звъздъ».

У меня мелькнула догадка: отказать въ не пріемѣ вещи начинающему—легко, но отказать писателю съ именемъ, который къ тому же вещь читалъ и нашелъ, что ее должны принять—гораздо труднѣе. И не отсюда-ли это неудовольствіе?

И чтобы провѣрить эту догадку — я прямо смотрю въ лицо А. и заявляю:

- Что разсказъ переданъ вамъ З. это не мое желаніе, а настойчивое желаніе его. Откровенно сознаюсь: я почему-то всегда думаю, что никогда вы изъ моихъ разсказовъ ничего не возьмете.
 - А. вынужденно улыбнулся;
 - Почему такъ думаете?
- Не знаю самъ, и я невольно и печально улыбнулся: Чувствую такъ.
- Но однако же этотъ разсказъ рѣшились отдать на просмотръ мнѣ?
- Рѣшился, но по настоянію З.: онъ увѣрялъ меня, что вы этотъ разсказъ возьмете.

А. ничего на это не сказалъ и отвернулся въ сторону. Въ этотъ моментъ умерла моя слабая, блѣдная надежда—мнѣ почудилось, что такимъ культурнымъ питомцамъ такіе люди, какъ я, тяжелы. Сытыхъ, красивыхъ, обезпеченныхъ людей имъ нужно видѣть, а не тѣхъ, кто, то проситъ о скоромъ просмотрѣ рукописи, то о какомъ

нибудь мѣстѣ *), то напоминаеть о какихъ то холодныхъ и сырыхъ подвалахъ, гдѣ умираетъ больная женщина.

Словомъ, напоминаетъ всегда о непріятномъ, о томъ, гдѣ, пожалуй, иногда неловко чувствовать себя такимъ изящнымъ и красивымъ.

Я поспѣшиль съ А. проститься. Не хотѣлось ему подавать своей руки, ибо думалось, что послѣ моего ухода, онъ вѣроятно оботретъ свою руку платкомъ, а можетъ быть, и пойдетъ мыть руки: вѣдь, человѣкъ живетъ гдѣ-то въ подвалѣ—въ гнѣздѣ всевозможныхъ микробовъ!

Я поспѣшилъ съ А. проститься и... замѣтилъ, что у него вырвался вздохъ облегченія. Было ясно, какъ Божій день, что твое сѣрое, истощенное, нервное лицо, твои глаза, то смертельно тусклые, то съ голодно лихорадочнымъ блескомъ—это не защита твоя, а оружіе противътебя: тебя будутъ добивать только за то, что твой видъ непріятенъ.

Когда я вернулся домой—жена встрътила меня и мымъ вопросомъ.

Но что я могь ей сказать?

Она поняла и отвернулась лицомъ къ стѣнѣ. Я, разбитый, прилегъ на свою кушетку.

^{*)} Объ этомъ я просилъ г. А. два раза—и оба раза, какъ культурный человъкъ онъ отказывалъ мнѣ мягко, съ пожатіемъ плечъ: въ этомъ не могу помочь!

На другой день утромъ въ десятомъ часу г. А. прислалъ мнѣ со своей прислугой мой разсказъ.

Я сразу поняль изъ какого источника эта любез ость: эстету, культурному человъку не подъ силу показалось видъть меня еще разъ.

При разсказѣ было письмо. Прислуга стоитъ и ждетъ:

-- Баринъ просили отвѣта.

Я разрываю конверть, вынимаю письмо, потомъ еще нѣчто, что заставляеть меня бросить испуганный взглядь на жену: къ моему счастью она лежить въ постели завернувшись отъ холода въ одѣяло съ головой; тогда я это «нѣчто» зажимаю въ рукѣ, быстро, не разбирая письма, пробѣгаю его и говорю прислугѣ:

- Передайте барину, что я его благодарю. Она уходитъ. Жена, не открывая изъ подъ одѣяла головы, спросила:
 - Это отъ кого и что?

Я поясняю, что это разсказъ, присланный изъ редакцій одного журнала.

- Значитъ, не приняли?
- Не приняли, родная.
- Плохо, дѣдъ. Хотя очень любезно: вотъ никогда не ожидала, что редакторы способны со своей прислугой присылать на домъ непринятыя вещи. А письменный отвѣтъ—почему разсказъ не принятъ?—каковъ?

Я говорю, что письменнаго отвъта нътъ.

Жена на минуту открываетъ изъ подъ од Бяла голову:

— Қақъ нѣтъ? Должны же они выяснять мотивы отқаза?

Я лгу, что мотивы отказа мнѣ были извѣстны раньше.

- Когда?
- Вчера.
- Что же ты мнѣ объ этомъ не сказалъ?
- Что говорить? Радостнаго въ этомъ мало.
- Тогда почему же ты не взялъ разсказа вчера? Опять лгу:
- Разсказа не было въ редакціи. Онъ былъ у редактора на дому, вотъ онъ мнѣ его сегодня и прислалъ.

Жена вновь скрываетъ голову подъ одъяло.

— Такъ. Хотя и это хорошо. Жалѣютъ тебя, дѣдъ. Лишній разъ не ходить.

Тонъ у жены мило-добродушный. Отъ ея словъ, что меня «жалѣютъ», что «и это хорошо», меня сжало какъ отъ непереносимой физической боли.

Украдкой, какъ будто бы заглядываю въ свой разсказъ, я читаю письмо А.

Содержаніе таково:

«М. Γ.

Мнѣ тяжело и на этотъ разъ разочаровывать васъ. При всѣхъ достоинствахъ разсказа, я долженъ все-таки признать,

что это-не литература. Я чувствую, что это горькая натура, изображена трогательно: ни на одну минуту не сомнъваешься въ томъ, что это не пережито авторомъ. Но взять его не могу по двумъ причинамъ: разсказъ скорфе матеріалъ для художественнаго разсказа, а потомъ въ немъ слишкомъ много бользней: воспаленіе легкихъ, рахитъ, чахотка... Что-то клиническое, болъе идущее къ спеціальному журналу. Но повторяю: достоинства разсказа такъ значительны, что я надѣюсь, что вы когда нибудь напишите вещь, которая будетъ напечатана на страницахъ нашего журнала.

PS. Надѣюсь, не обидитесь. Примите, когда нибудь сочтемся».

Я разжимаю руку и смотрю на трехрублевку: это за «горькую натуру!» За тоть ужась, въ которомь мы ни на минуту не сомнъваемся въ томь, что онъ пережить авторомъ, за еще большій ужась, о которомь воть только вчера говориль авторь, гдь окончательно задыхаются онъ и его жена, гдь сломлена гордость и говорятся слова «Бога ради»—всьмъ этимъ мы тронуты ровно настолько, чтобы кинуть подачку въ три рубля и наговорить погибающимъ сладенькихъ, гнусно-тепленькихъ утъшеній и объщаній!

Это въ лучшемъ случаѣ, а въ худшемъ: можетъ бъть, совсѣмъ не тронуты, а кидаемъ подачку и присылаемъ рукопись на домъ лишь потому, чтобы не вызывать у себя непріятныхъ чувствъ видомъ «несчастненькаго», когда онъ придетъ за отвѣтомъ? Такъ не лучше ли своевременно откупиться?

Можеть быть! Свое спокойствіе дороже трехъ рублей.

Я смотрю на трехрублевку и выжидаю: какой порывъ изъ двухъ возьметъ верхъ?

Хочется пойти и бросить подачку въ лицо; бросить и сказать: если ужъ быть передъ жизнью и человѣкомъ камнемъ, то быть камнемъ подлиннымъ, цѣльнымъ—не идти на компромиссы, на трехрублевки.

Если ужъ бить, такъ бить прямо, грубо. Такъ лучше: нѣтъ по крайней мѣрѣ лицемѣрія.

А не лучше-ли не ходить? Развѣ мало я выпиль униженій? Если я захлебнулся въ нихъ, то, что значить одно лишнее? Развѣ тѣмъ, что принимая эту до глубины души уязвившую меня подачку, я не пріобрѣтаю себѣ права не краснѣя взглянуть когда нибудь въ лицо этому человѣку и сказать: «Вотъ вамъ ваша трехрублевка. Помите, когда и при какихъ условіяхъ вы мнѣ ее дали? Какимъ чувствомъ вы руководились, чтобы такъ унижать человѣка?»

Развѣ это не моментъ?

Эти вопросы взяли верхъ.

Я прячу письмо въ карманъ, трехрублевку въ ящикъ стола. Побѣждаетъ ядовитая истина, что ты живешь въ мірт униженій и, если хочешь выжить, хочешь быть побѣдителемъ— значитъ пей унуженія и молчи до поры до времени.

Дави въ себѣ взрывы твоей попираемой гордости во имя высшей гордости: гордости не упасть, а подняться. Раньше времени не кричи, ибо каждый твой крикъ будеть противъ тебя.

Затьмъ мой подъемъ спадаетъ. Мнь становится скучно. Чтобы развлечь себя, я беру книжку журнала, который редактируетъ А.

Читаю.

Читаю и вижу, что едва-ли я когда удостоюсь чести печататься на страницахъ «нашего журнала».

Вотт его направленіе: дальше, какъ можно дальше отъ жизни!

А такъ какъ отъ нея уйти совсѣмъ нельзя, то на всѣ острые углы ея тамъ накидываютъ лицемѣрный флеръ. Красиво погрустить позволяется, но выражать гнѣвъ въ сильныхъ словахъ—это грубо, недопустимо, этому нѣтъ мѣста въ журналѣ.

Но это не журналь, а «Прокрустово ложе», гдѣ съ мягкими и милыми улыбками распинается человѣкъ, вся жизнь. Тамъ кастрируютъ лучшія чувства читателя, дѣлаютъ его слѣпымъ и увѣряютъ, (въ этомъ родѣ г. А. давалъ мнѣ однажды совѣтъ) что воспитывать и облагораживать чи-

тателя можно только тымь матеріаломь, какой подбираеть онъ (г. А.)

Я приносиль вещи, изъ которыхъ ясно, что дальше идти не куда, — жизнь ожесточенная бойнь, гдѣ часто бьютъ безъ смысла, безъ надобности—мнѣ А. говорилъ, что это грубыя, непріятныя темы правдивы, но изображать ихъ слѣдуетъ не такъ: «Повѣрьте мнѣ, что нервировать читателя нельзя. И если вы изображаете ужасъ, насиліе, то какъ можно болѣе мягкихъ словъ, успокаивающихъ красокъ. Повѣрьте мнѣ: такое воздѣйствіе сильнѣе. Народился уже новый читатель, которому не нужно жесткихъ словъ, потрясающихъ картинъ: довольно на ужасъ и насиліе намека, красиваю штриха! Остальное читатель дополнитъ самъ».

Я повърилъ въ такого «новаго читателя»—и принесъ вещь помягче.

Но и эта вещь не подошла.

Героиня разсказа мать, у которой затравили ея перваго ребенка, у смертнаго одра ребенка рветъ на себъ волосы и, хотя передъ собою никого не видитъ, но топаетъ ногами и кричитъ: «Вы, вы, звъри, затравили моего ребенка!»

Это тоже оказалось: «Повърьте мнѣ, такъ нельзя! Это топанье ногами, рванье волосъ—это грубо, непріятно. Человѣкъ и въ несчастьѣ долженъ быть красивъ... Подумайте: топаньемъ ногъ и рваньемъ волосъ мать своего ребенка не вернетъ. Въ концѣ-концовъ, у матери о сво-

емъ ребенкѣ останется чувство печали—и не лучгче-ли дать образъ такой печали, чѣмъ эта тяжелая сцена?»

Я ушелъ тогда отъ А., подумалъ и рѣшилъ къ нему больше не ходить: передъ такимъ человѣкомъ у меня начиналъ возникать какой-то смутный страхъ.

Потомъ я узналъ про А. нѣчто.

Журналъ существуетъ давно. А. редакторомъ его не былъ еще и года. И вотъ, какая-то старинная подписчица возмутилась содержаніемъ журнала, назвала это содержаніе мерзостью и потребовала вернуть ей подписныя деньги.

Контора, конечно, считала, что она въ правъ денегъ не возвращать, но А. топалъ отъ бъщенства въ конторъ ногами, требуя, чтобы этой подписныя деньги немедленно!

Это не грубо?

Высоко-культурный эстеть забыль, что «человъкь и въ несчасть фолженъ быть красивъ», хотя какое же тутъ несчастье?

Значить, если какой-нибудь пустякъ противъ насъ—этоть пустякъ цѣлое преступленіе, гдѣ невозможно сдержаться отъ бѣшенаго топота ногъ при наличности всѣхъ конторскихъ служащихъ, а драма другихъ, драма матери, получившей, можетъ быть, въ смерти своего ребенка смертельный ушибъ души на всю жизнь—это пустяки, это положенье, гдѣ недопустимо рвать волосъ и топать ногами?!

Воть оно «чудище-обло» XX вѣка!

И съ горькимъ, съ безконечно горькимъ чувствомъ я отбрасываю книжку журнала и сижу, тупо спрашивая себя: что же теперь дълать?

Слука, давить чудовищная, еще никогда въ такой м врѣ не извѣданная скука.

Я беру карандашъ и на газетъ множество разъ пишу:

- Гоголь, не на такую-ли скуку ты намекалъ, когда говорилъ:
- «Скучно жить на свѣтѣ, господа!» Пишу вдоль и поперекъ. Весь листъ газетный черенъ, а я пишу, пишу.

И не слышалъ, какъ поднялась съ постели жена и подошла ко мнѣ.

— Дѣдъ, ради меня... Боже мой, какое у тебя лицо... На меня это больно дѣйствуетъ Больно тебѣ—больно мнѣ. Ради меня: не надо этого лица! Умоляю тебя.

Я смотрю на жену, —лицо у ней испуганнострадающее, но и лицо ея, и вся она въ эти моменты отъ меня такъ далеко-далеко, что я ее едва вижу: съ тѣмъ усиліемъ, точно насъ отдѣляетъ большое разстояніє.

Инстинктивно я веду ее къ постели, укладываю и съ трудомъ изъ себя вяло выдавливаю:

 Лицо, какъ лицо. Выдумываешь ты. Забылся я, и больше ничего. Не сердись, родная.

Она посмотрѣла на меня и закрыла глаза.

Я почувствоваль, что мнь куда то надо

пойдти; на минуту у меня проснулось сознаніе, что жестоко сейчасъ оставлять жену одну—и потомъ погасло.

Я началь одъваться. И если бы жена начала просить меня, чтобы я не уходиль, я, въроятно, ей не уступиль бы. Но она ничего не сказала. Я молча вышель изъ дому и пошель.

Куда? Зачѣмъ?

Такими вопросами я не задавался.

Давила скука. Чудовищная скука. Порывало бѣжать: бѣжать до упаду. И страхомъ пронизывала мозгъ мысль: а что, если такое состояніе на недѣлю, на двѣ?

И какъ всегда, эта же мысль старалась меня обмануть; она говорила мнѣ, что въ сущности все ясно—гибель ждетъ прежде мою жену, потомъ меня, что противъ неизбѣжности ничего не подѣлаешь, что кромѣ мужества бороться до послѣдняго конца ничего не остается, что это мужество есть во мнѣ, а поэтому—къ чему мучить себя какой-то дикой скукой, усугублять и безъ того нелегкое положеніе свое?

Но инстинктъ, инстинктъ!

Когда я безцѣльно шагая по улицамъ, проходилъ мимо одного дома, меня точно кто толкнулъ и сказалъ:

— Вотъ домъ, гдѣ живетъ человѣкъ, который тоже повиненъ въ твоей скукѣ.

Съ минуту я стою около этого дома и при-поминаю.

Поэтъ и беллетристъ. Сухое, самовлюбленное лицо. Дорянинъ, тоскующій въ своихъ произведеніяхъ о томъ невозвратно-уплывшемъ времени, когда горбами крѣпостныхъ поддерживали ъ богатыя помѣщичьи усадьбы: съ широкимъ разгуломъ, со стаями собакъ, съ лихими тройками, съ безграничнымъ насиліемъ надъ закрѣпощенными людьми! Увы, все минуло, какъ сладкій сонъ. Нищаемъ и плачемъ!

Могу ли я забыть этого тоскующаго дворянина?

Выплыли изъ памяти прошлые дни. Тогда, когда живъ былъ еще ребенокъ. Былъ кризисъ: ни копѣйки въ карманѣ. Жена побѣжала куда-то раздобывать денегъ—и запропала.

Надвинулась ночь.

Когда тянулись сумерки—ребенокъ долго плакалъ: требовалъ огня. Но керосину не было.

Наплакался и замолкъ.

Я сидѣлъ съ ребенкомъ у окна и видѣлъ тоскливый, молчащій страхъ въ глазахъ ребенка: пятимѣсязная крошка прижалась крѣпко къ моей груди и жадно-жадно заглядывала въ яркоосвѣщенныя окна противоположнаго дома.

Жена вернулась къ двѣнадцати ночи—разбитая, безъ гроша и безъ надежды достать хоть сколько нибудъ на слѣдующій день.

Мы голодали уже двое сутокъ, но мы о себъ забыли.

На другой день я отправился къ дворянину.

Онъ меня зналь; когда то мы встрѣчались у Горькаго. И хотя съ перваго впечатлѣнія я неблаговолиль къ нему—но чего не поборешь, когда почувствуешь ужасъ ребенка оттого, что нѣтъ огня.

Я несъ къ дворянину разсказъ: будьте добры, прочтите, молъ, мою вешь, и если возможно ее куда-нибудь устроить—буду вамъ благодаренъ.

Я несъ разсказъ, не думая о его устройствъ: взялъ его, какъ предлогъ, за которымъ просъба—одолжить на короткое время хотя-бы рубля три!

Дворянинъ меня принялъ... если это можно назвать пріемомъ?

Жиль онъ въ дорогихъ меблированныхъ комнатахъ. Стучу къ нему въ его дверь разъ, два. Дверь чуть-чуть пріотворяется; прежде вѣжливо-высматривающіе глаза, потомъ раздраженные: чортъ знаетъ кто безпокоитъ! Я раскрываю ротъ и успѣваю только сказать:

— Вы, можетъ, меня и забыли. Мы съ вами встрѣчались...

Двєрь широко распахивается и дворянинъ передъ моимъ носомъ энергично машетъ руками:

— Не могу... Не могу говорить! Вы мнѣ все настроеніе испортите! Я рефератъ готовлю. Придите, какъ нибудь еще. А теперь... не могу говорить... Не могу!

И захлопнулъ дверь.

Таковы мы въ жизни. А на словахъ-въ од

номъ изъ своихъ произведеній онъ гордо заявляетъ: :Мы, можетъ быть, проживемъ не напрасно!»

У него рефератъ? Но давалъ ли ему право этстъ рефератъ встрѣчать такъ и выпроводить человѣка, не зная—что у него.

У него реферать! Не нашель ли онь точки опоры для Архимедова рычага? Не додумался-ли до открытія тайны четвертаго измѣренія?—Не разрѣшиль ли величайшія проблемы жизни и смерти?

Ничего подобнаго! Все свелось къ тому: онъ прочелъ въ литературно-художественномъ кружкѣ свой рефератъ, услышалъ нѣсколько жиденькихъ хлопковъ, а на другой день прочелъ въ газетѣ о своемъ рефератѣ отчетъ... въ десять строкъ!

У него—рефератъ, а у меня—ужасъ: я шелъ отъ него и трепеталъ: а если и сегодня намъ съ женой придется пережить тоскливый, молчащій страхъ пятимѣсячной крошки?

Гроза тогда миновала: я выпросилъ у лавочника два фунта керосина въ долгъ.

Забывается по временамъ этотъ тоскующій дворянинъ, забывается страхъ пятимѣсячной крошки—но сѣмена брошены, нива чудовищной скуки зрѣетъ и даетъ себя чувствовать.

Съ минуту я стою противъ знакомаго дома и иду дальше, занятый сопоставленіями г. А. и поэта-дворянина: кто изъ нихъ лучше?

Припоминаются слова Шницлера: *)

«Самые жалкіе прохвосты тѣ, благородство которыхъ простирается лишь настолько, чтобы не вводить ихъ въ расходы и мужество которыхъ какъ разъ настолько велико, что съ ними не можетъ ничего случиться».

Раздумываю и нахожу, что дворянинъ—поэтъ все-таки лучше: цѣльная натура, не говоритъ сладенькихъ словъ, не идетъ на компромиссы.

А это лучше: никакихъ иллюзій не создаетъ и сразу свой ликъ кажетъ.

Не будеть мучить: съ первой же встрѣчи опредѣлишь его достойнымъ словцомъ и больше къ нему не пойдешь!

Я иду дальше. Уже усталь. Но идти надо. Куда? Не все ли равно. Но ноги намяты до боли—и это заставляеть меня завернуть къ З.; знаю, что въ это время онъ не занять и иду къ нему какъ будто бы съ цѣлью отдохнуть.

Но когда прихожу къ нему—едва переступаю порогъ его квартиры и яснѣе опредѣляю себя: я жалокъ, я загнанъ, какъ собака, и въ эту квартиру меня привело не чувство простой, физической усталости, а чувство болѣе худшее:

^{*)} Эти тяжелыя слова Шницлера писались въ тяжелое время—они освящены вершиною человъческихъ страданій и поэтому я считаю себя не въ правъ замънять ихъ болъе мягкими. Г. высоко-культурные эстеты—не сердитесь: вы видите, какъ вы жестки и некрасивы... точно булыжники.

я падаю, падая знаю, что и здѣсь не получу того, чтобы меня и больную жену вывело изъ полосы гибели и все таки хожу сюда, ибо здѣсь мнѣ еще ни разу не дали грубо почувствовать, что я надоѣлъ.

Изъ передней мы проходимъ съ 3, въ его кабинетъ.

Я передаю ему письмо А. и говорю — тихо, съ нотками безнадежной покорности:

- Прочтите. Вы увѣряли, что онъ возьметъ этотъ разсказъ... Никогда онъ у меня ничего не возьметъ.
 - 3. прочель письмо—и молчить.

Я говорю, что не понимаю въ письмѣ воть этой фразы: «Что то клиническое; болѣе идущее къ спеціальному журналу»; или, вѣрнѣе, понимаю, но какъ ни къ чему не идущую, нелѣпую отговорку. Воспаленіе легкихъ у ребенка, потомъ рахитъ, за рахитомъ чахотка—для всякаго человѣка понятно, что это слѣдствіе одного къ другому, а А. находитъ, что въ разсказѣ слишкомъ «много болѣзней».

Говорю и недоумъваю:

- Странно. Точно я написаль какую то ученую статью для медицинскаго журнала... Гдѣ такой «спеціальный журналь», куда болѣе идеть вещь написанная въ беллетристической формѣ?
- 3. вновь перечитываетъ письмо, потомъ смотритъ въ окно и говоритъ по адресу А.:
 - Баба!

Помолчалъ:

— Принесите мит этотъ разсказъ. Я его передамъ еще въ одинъ журналъ.

Я благодарю и спѣшу проститься: опять скука!

При мысли, что сейчасъ пойду домой, гдѣ меня ждетъ подвалъ — въ немъ погибающая жена, — меня на моментъ охватываетъ ужасъ: страшно идти домой.

Чувство близкое къ истерикѣ бьетъ въ гогову и я готовъ расплакаться, а плача повѣдать о кошмарѣ, давящимъ меня и больную жену въ проклятой ямѣ.

Но скука, холодная, желѣзная, мудрая скука: она говорить мнѣ, что никому твой ужасъ никогда не будетъ такъ близокъ, какъ тебѣ; она знаетъ, что при видѣ твоего отчаянія, слезъ, человѣческія сердца немного трогаются, но она горда и слезы при другихъ считаетъ степенью недопустимой слабости, она горда и требовательна, — хочетъ, чтобы люди чувствовали ужасъ безъ слезъ, безъ сценъ отчаянія.

И безъ звука о своемъ тяжкомъ положения иду отъ З. домой.

И спѣшу. Мнѣ стыдно за малодушіе: я убѣжаль и оставиль больную женщину въ такой обстановкѣ одну?!

Время около пяти вечера.

Жена заждалась меня до муки. Испуганныя, уже нескрываемыя нотки звучать въ ея голосъ, когда я изъ кухни отворяю дверь въ свою комнату:

— Дѣдъ, это безбожно! Такая тоска! Темь невыносимая — и огня зажечь не въ силахъ: въ такомъ холодѣ я не могу съ постели подняться. Бога ради—зажигай огонь, давай чаю.

Я зажигаю огонь. Потомъ пьемъ чай. Отъ лампы въ комнатъ теплъе. Жена повеселъла. Шутила. Смъялась. Тормошила меня:

— Это невозможно! Терпѣть не могу хмурыхъ лицъ. Смотри на меня: не унываю же я! Я смотрѣлъ на нее—и горько улыбался.

Она, наконецъ, замолкла. Такъ мы молча просидъли съ полчаса. Я чувствовалъ, что я своимъ состояніемъ ухудшаю состояніе больной, но не было силъ подавить въ себъ все наростающую тяжесть.

— Ну, посмотри: на кого ты похожъ? Какъ ты мучаешь меня.

Жена держала передъ моимълицомъ зеркало. Мои плечи сузились, голова глубоко ушла въ туловище, а лицо—я содрогнулся отъ холода и отъ окаменѣнія своего лица.

Жена пошла къ постели, уткнулась лицомъ въ подушку и тихо плакала.

Я молча и медленно гладилъ ея волосы, а въголовъ упорно стояла одна мысль:

— Какъ вдумаешься хорошенько—ничего не страшно. Ни жизнь, ни смерть. Ничего нътъ страшнъе того, что есть въ человъкъ...

Но моментами погасала и эта мысль. И тогда наступала полная внутренняя темнота, полная безысходность, выливающаяся въ одномъ напряженномъ внутреннимъ крикѣ:

— Скука!.. Боже мой, какая скука!

Безпокойная тревога, страхъ, потомъ ужасъ и, наконецъ, бѣшенство — вотъ смѣна чувствъ, которыми я жилъ внутренне, а внѣшне—внѣшне было и необходимое самообладаніе и мужество.

Утромъ я поднимался съ тяжелой головой и силился сообразить: за что же мнѣ приняться? И не могъ.

Засматривалъ въ углы комнаты, останавливался у стола, потомъ вновь блуждалъ по угламъ.

Жена въ этомъ чуя недоброе — тревожно спрашивала:

- -- Чего ты ищешь?
- Я подходиль къ ея постели.
- R
- - Да, ты. Усталь ты, дѣдъ.
- Я?— и я начиналъ тереть лобъ рукой: Нѣтъ, я ничего. Правда: голова болитъ. Чортъ знаетъ, почему болитъ. Должно быть, легкая инфлуэнца. Но ты не безпокойся. Приму аспирину и все пройдетъ.

Но аспирина я не принималъ, а шелъ въ кухню и подставлялъ голову прямо подъ кранъ. Тяжесть и боль головы отъ холодной воды исчезалч и возвращали мнѣ способность соображать.

Съ мокрой головой я иду въ лавку за хлѣбомъ. Возвращаюсь. Самоваръ хозяйкою уже поданъ. И жена встала—сидитъ за столомъ. Я упрекалъ иногда:

— Вѣдь, дрожишь? Охота въ такой холодъ подниматься?

Она мнѣ отвѣчала тономъ шутки:

— Развѣ я такъ слаба, что не могу встать и подняться безъ твоей помощи?

За чаемъ я всматривался и замѣчалъ, какъ остро ухудшается ея здоровье. Отъ того, хотя еще и больного, но странно прекраснаго лица, съ какимъ она пріѣхала, не осталось и слѣда: осунулось до невыносимой скорби, потемнѣло до землистаго оттѣнка, свѣтло-пепельные волосы начали тускнѣть. Отъ прежняго лица—остались одни только глаза. Въ нихъ все то-же великое спокойствіе, котораго я въ первые дни ея пріѣзда не понималъ.

Съ этимъ ея спокойстіемъ, спокойствіемъ смиренія и покорности, я не могъ примириться.

И каждый день со мной повторялось одно и тоже такъ, точно переживалось впервые. Въ началѣ захватывала тревога, та безотчетная тревога, когда человѣкъ добитъ до того, что сразу не можетъ осмыслить, что собственно ему угрожаетъ; потомъ эта тревога, замѣнялась расте-

ряннымъ страхомъ: нужно куда то бѣжать—къ знакомымъ, къ незнакомымъ, все равно!—и момить о пощадѣ и о помощи. А затѣмъ уже — полное сознаніе, память обо всемъ томъ, что предпринималось, и рядомъ со страхомъ выростали ужасъ и бѣшенство: «Камни. Камни! Кто понялъ, кто почувствовалъ, хоть отдаленно? Куда дальше идти въ просъбахъ о помощи? Одно остается: идти и ползать на колѣняхъ. Тогда смилостивятся, пожалѣютъ! Нѣтъ, довольно того, что было. Пусть будетъ, что будетъ».

Послѣ чаю я начиналъ готовить обѣдъ. Готовилъ его медленно, спрашивая у жены, — въ какое блюдо, что лучше идетъ.

Женѣ обѣды были уже не нужны. Аппетитъ у нея упалъ совсѣмъ, но ради меня она насильно глотала нѣсколько ложекъ перваго блюда, отвѣдывала второго—и хвалила:

— Честное слово, дѣдъ: обѣдъ мастерски приготовленъ,

Я силился изобразить видъ, что похвалой доволенъ, но встрѣчались другъ-съ другомъ взглядами и каждый читалъ въ глазахъ другого: къ чему этотъ взаимный обманъ?

Читали и все таки этого обмана придерживались: какъ то особенно страшно и грубо казалось говорить о томъ, чего мы и безъ словъзнаемъ, къ чему идемъ безъ надежды на спасеніе.

Но и быть всегда на сторожъ, давить мысли

и чувства тоже оказывалось не подъ силу. Обоимъ намъ мучительно хотълось разрубить этотъ страшный узелъ—и ни одинъ не ръшался.

Мнѣ въ особенности казалось дико заговорить объ этомъ: вѣдь, умираетъ она. О такихъ вещахъ говорятъ люди только равныхъ положеній.

Можетъ быть, такъ думала и жена, когда рѣшилась заговорить объ этомъ первая.

Было время—время послѣ обѣда: самые тягостные для меня часы—часы тишины и молчанія.

Жестомъ руки жена попросила меня присъсть на край ея постели и начала съ шуточнаго тона:

— Ахъ, дѣдъ, во всемъ, буквально во всемъ мы съ тобой на одну колодку. Я болѣю,—а ты мучаешься больше меня. Правда, если бы я была на твоемъ мѣстѣ, а ты на моемъ—мнѣ кажется, что я сошла бы съ ума. Легче, неизмѣримо легче смерть, чѣмъ пережить любимаго человѣка—такъ думаю я, думаю по бабъи! Но ты мужчина и посмотри на смерть мою глазами мужчины: умєрла жинка, мало пожили, но что подълаець,—значитъ, не судьба. Честное слово, дѣдъ! Съ меня довольно одного: знаю, что когда умру—лихомъ меня не помянешь. А? Ну, скажи же, что нибудь. Что молчишь?

Я молчаль. Все во мнѣ замерло, кромѣ чувства воспріятія: каждое ея слово, интонація голоса входили въ меня и оставаясь во мнѣ, заполняли меня тѣмъ холодомъ отчаянія, когда не выдавишь изъ себя ни одного звука.

Помолчала и она—и тѣмъ же шуточнымъ тономъ:

— Сколько разъ я бывала зла на весь міръ, когда думала, что приходиться разставаться? Зла. Да. Но что-жъ, подѣлаешь. Такъ что-ль это говорятъ: плетью обуха не перешибешь? Я теперь ужасно забывчива. Главное здѣсь не то... видишь ли...

Голосъ жены дрогнулъ, слезы зазвучали въ немъ, когда она съ очевиднымъ усиліемъ сохранить самообладаніе, повторила:

— Видишь ли...

И не выдержала. Поднялась, припала ко мнѣ и плакала, то молча, то мѣшая слезы съ медленно бросаемыми фразами.

— Какая безысходная тоска, когда заживо хоронишь въ себъ то необъятное, неутолимое. Слушай! Чѣмъ ни больше мы жили, тѣмъ больше въ насъ вливалось это великое, безпредѣльное, неизживаемое! Неизживаемое — зачѣмъ такъ? Неизживаемое—смотрѣла на тебя и думала: я умру, умрутъ мои мысли и чувства, а онъ останется жить... одинъ. Въ мірѣ скорби и ужаса. Дѣдъ, такъ хотѣлось часто взять твою голову, прижать къ себъ и утѣшить, примирить... Но какъ рѣшиться на это, когда не можешь себъ представить, до какой боли хочешь коснуться: а не сдѣлаешь ли хуже? И я мол-

чала: пусть все идеть такъ, какъ сложится. Я молчала и желала, чтобы скорѣе конецъ этой агоніи. Смѣна чувствъ—то жизни, то смерти,— это невыносимо. Жаждешь конца. Что сказать тебѣ еще?

Жена на минуту замолкла. Я уже видѣлъ передъ собой ея лицо, полные слезъ глаза, но голосъ ея окрѣпъ и заговорила она ровнѣе, увѣреннѣе:

— Какъ жаль, что не знаешь, куда идешь, что тамъ ждетъ? Въ одномъ я убѣждена, что если тамъ жизнь, то для чувствъ человѣка смерти нѣтъ. А я вѣрю: тамъ жизнъ. Я хочу вѣрить: ты здѣсь на землѣ, я тамъ—но мы вмѣстѣ. Нить не оборвется. Нѣтъ. Крѣпко связаны. Да. Развѣ у насъ не было минутъ, когда-то ты меня, то я, называли другъ-друга «мама моя»? Падали духомъ то ты, то я,—но вмѣстѣ никогда. Это мнѣ многое говоритъ. «Мама моя,» что тебѣ пожелать—не знаю. Увидишь самъ. Главное... вотъ...

Жена запнулась, добавила:

- Охъ, какъ не хорошо.

Потомъ вздрогнула всѣмъ тѣломъ и повалилась навзничь. Я перекрестился, повинуясь огромному, новому для меня чувству:

— Умерла. Вотъ смерть, —иной мысли мнѣ не пришло въ голову.

У меня внезапно созрѣло рѣшеніе: «умру и я! Довольно.» И это рѣшеніе дало мнѣ силу думать, отдать себѣ послѣдній отчеть, а кромѣ этого—безконечно близкимъ и дорогимъ, какъ никогда при жизни, казалось мнѣ тѣло жены при мысли, что черезъ нѣсколько часовъ я тоже буду туупомъ.

Но когда за этой мыслью у меня было поднялось на минуту чувство ненависти, что у меня раздавили послѣднее, самое дорогое, а я... я тоже сдаюсь—въ этотъ моментъ вспыхнуло во мнѣ напряженіе безумной гордости, страстно захотѣлось жизни, жизни дикой, несчастной, жизни съ однимъ изступленнымъ сознаніемъ: «Какъ міръ и люди меня не давятъ, но я живу на зло людямъ и міру, я не сдамся»—и вотъ въ этотъ моментъ меня охватилъ жуткій страхъ.

Оставаться въ одной комнатѣ съ мертвымъ тѣломъ казалось немыслимо.

Въ комнату уже ползли сумерки. Я зажегъ огонь. Отъ стола я взглянулъ на постель и потянуло въ кухню, къ хозяйкѣ, сказать, что умерла жена и быть тамъ въ кухнѣ, но не здѣсь, не въ комнатѣ.

Выросло чувство порицанія, что воть стоило дорогой женщинѣ испустить послѣдній вздохъ и ты уже ее боишься. Ея духовный обликъ дорогь, близокъ, о немъ не забудешь, но онъ уже куда то отошелъ, его не чувствуешь, какъ при жизни; осталась только оболочка духа—и этой оболочки ты боишься.

Но прошла эта минута, исчезло больное, из-

ступленное желаніе жить «на зло», явилась опять рѣшимость умереть и вновь тѣло жены не стало меня пугать.

Потянуло къ нему. Я взялъ стулъ и присѣлъ къ постели. И смотрѣлъ на лицо жены—видя его смутно, какъ сквозь дымку,—и думалъ.

Воть, кончена жизнь. Какъ она лежала и умирала покорно въ этой ямѣ: ни разу не заикнулась ни о врачѣ, ни о лекарствѣ. Кончена жизнь. И кончена моя мука: знать, что есть еще возможность вырвать любимую женщину изъ рукъ смерти и сознавать, что на просьбы твои о помощи тебя оставили безъ помощи и заставили смотрѣть, какъ она приближается къ смерти,—что же тяжелѣе этого?

И я находилъ, что тяжелѣе этого ничего нѣтъ: это выше, чѣмъ «положить душу свою за други своя».

Я припоминаль все, что и како мы пережили съ женой въ течене двухъ съ половиной лѣтъ и это все говорило мнѣ, что мнѣ теперь понятно, какъ «Любовь побѣждаетъ и адъ»,—адъ въ прямомъ и переносномъ смыслѣ.

Адомъ сплошнымъ была наша жизнь въ смыслѣ нужды, бѣдъ, и несчастій, но дрогнула-ли когда-нибудь передъ нимъ эта маленькая женщина? Нѣтъ.

Женщина!

Припомнилась встрѣча съ однимъ бродящимъ по Руси старичкомъ-странникомъ и его разсказъ.

«На мамочку, (такъ онъ называлъ всъхъ женщинъ) милый, плохо не смотри. Мамочка-штука большая. Есть такое сказаніе въ одной старинной книгѣ. Жили-были Онъ да Она. Потомъ умерли. Почти что вмѣстѣ: прежде умеръ Онъ, а денька черезъ три-не выдержала, затосковала мамочка и тоже Богу душу отдала. Много испытаній пережили Онъ да Она на землѣ, а любви своей не измѣнили. Особенно крѣпка въ любви была мамочка. И захотѣлось Богу испытать ее въ послѣдній разъ. По повелѣнію Его приводитъ ангелъ душу мамочки къ дверямъ Рая и говоритъ: «Вотъ уготованное тебѣ мѣсто; постучи и тебѣ отворять. А вонъ твой земной избранникъ. Посмотри на него. Въ нослѣдній разъ, больше ты его не увидишь. И молись за него: ему уготовано мѣсто искупленія.» Смотритъ мамочка и видитъ: врата Ада, а у вратъ стоитъ онъ-ея земной спутникъ и ждетъ, когда она скроется за дверью Рая. И поколебалась мамочка! Великій страхъ и великое смятеніе обуяли ее; видить она тоску по ней своего земного спутника и говоритъ ангелу: «Онъ мой избранный, настоящій. Развѣ я роптала, когда страдала съ нимъ на землѣ? Развѣ для меня есть выше мука: не чувствовать его около себя и думать о немъ,—а какъ онъ, что съ нимъ? Я хочу быть вмѣстѣ. За нимъ и съ нимъ хочу быть вездѣ и всюду!» И отвѣчаетъ ей ангелъ: «Тебѣ данъ выборъ: хочешь иди съ

нимъ въ Адъ». Еще разъ поколебалась мамочка—какъ никакъ, а Адъ-то страшитъ, —но увидѣла, какъ тянетъ къ ней руки спутникъ-то ея земной и не въ держала: пошла къ нему. Побѣдила значитъ себя! И тогда слышитъ мамочка голосъ Бога: Любовь—Животворящая, Всесозидающая, Всепрощающая и Всеискупляющая Любовь возьми своего избранника за руку и гряди въ Рай».

«Такъ то, милый! Вотъ она мамочка-то какая штука! Многіе изъ нашего брата смотрятъ на нее плохо—и шибко ошибаются!»

Я припомниль этоть расказъ старичка-странника и думалъ:

Да, женщина на это способна.

Потомъ я оторвался отъ постели и присѣлъ къ столу, Нужно было написать послѣднее. И вотъ, когда я только что успѣлъ взять въ руки перо, въ это время раздался стонъ.

Я не повѣрилъ себѣ. Но догадка, всколыхнувшая во мнѣ только что затихшій ужасъ, уже врѣзалась въ мозгъ. Я вернулся къ постели. Черезъ нѣсколько минутъ стонъ повторился и лѣвая рука жены медленно поднялась и упала на лѣвую сторону груди—противъ сердца.

Для меня очевидно: припадокъ-ли сердечный, глубокій обморокъ—но не смерть!

Но не смерть. Не конецъ. Какія же страданія суждены еще до полнаго конца?

И съ этой страшной мыслью, съ мыслью да-

лекой отъ радости, что дорогая женщина оказывается еще не умерла, я пускаю въ дѣло воду и спиртъ.

Черезъ полчаса мнѣ удается жену привести въ чувство.

Она весь остатокъ этого дня была очень слаба и провела его молча.

А я... я сидѣлъ за столомъ. Я видѣлъ изъ своего подвала весь этотъ чудовищный городъ, эту хлюбосольную первопрестольную столицу «матушку-Москву», гдѣ рѣкой течетъ золото, но только не для погибающихъ: безполезно кричать о помощи, это городъ гдѣ честность бѣднаго человѣка — его величайшее несчастье и безусловная гибель

Это городъ духовнаго тлѣнія. Огромная мертвецкая, гдѣ разлагающіеся трупы давятъ живыхъ, если живые не хотятъ быть трупами.

Это городъ болѣе худшій, чѣмъ города «Содомъ и Гоморра»: тамъ милосердіе каралось закономъ, тамъ неимущіе классы противъ имущихъ были поставлены въ открытое положеніе смертельныхъ враговъ, здѣсь неимущіе обманываются смѣхомъ сатаны: вы въ городѣ культуры и общественности — просите и дастся вамъ... безмѣрная чаша униженій и страданій, поруганіе человѣческаго достоинства и, наконецъ, гибель!

Стучите и отворять вамъ — дверь въ могилу! Я сидълъ и видълъ не одну только «Матушку

Москву», а все цѣлое — всю разлагающуюся страшную Россію.

Я сидълъ и всѣмъ, кто повиненъ въ гибели родной страны хотѣлось въ душѣ крикнуть: Будьте вы прокляты!

Хотълось и переживалась смъна чувствъ: то казалось, что страданіе такъ страшно, что его боишься призывать даже на головы враговъ своихъ, то—пустыми словами казались проклятія.

— Кто ихъ услышитъ? Да если и услышатъ— развѣ мало это страна посыпала себѣ голову пепломъ и каялась и проклинала себя? А жизнь, — эксцессы власть имущихъ и корчи слишкомъ ста-милліонной массы—все хуже, все страшнѣе, все давно за чертой человѣческаго... Къ чему слова проклятья—когда на лицо самопроклятье? Настоящее, подлинное самопроклятье. Страна разложенія, упадка.

И опять пошли дни все наростающаго ужаса. Какъ шло время до обѣда—я уже говорилъ, послѣ обѣда — по настоянію жены я садился около нее, она брала мою руку и закрывала глава.

Такъ я долженъ былъ сидъть часа три-четыре, и это время для меня было тяжелъе, чъмъ до объда: все таки хоть немного отвлекался возней съ приготовленіемъ объда.

Сидъть-же ничего не дълая и думать о томъ,

о чемъ нечего и нельзя думать, видѣть, какъ больная лежитъ покорно безъ врача и лекарствъ— это было выше моихъ силъ. Посижу и, думая что не заснула-ли она — осторожно пытаюсь высвобе цить свою руку изъ ея руки.

Она открываетъ глаза:

- Ты меня бросаешь?
- Родная, я не надолго. Вотъ... кастрюли надо вычистить, посуду помыть. Вообще... все прибрать.
- Не надо. Потомъ: вечеромъ. Да и потъшный ты въ это время: чистишь кастрюли и моешь посуду съ такимъ свирѣпымъ видомъ точно сокрушаешь враговъ.

Закрывала глаза:

— Ахъ, дѣдъ-дѣдъ. Все-то ты думаешь обо мнѣ. Чахотка... Что такое чахотка? Вѣдь, я еще молода: мнѣ только 25 лѣтъ. Въ такіе лѣта и чахотка не скоро свалитъ въ могилу: года въ три-четыре—не раньше. Въ этомъ я тебя увѣряю! А за это время мы найдемъ кого нибудь, кто мнѣ дастъ средства на леченіе. У меня по курсамъ есть одна знакомая — дочь милліонера-золютопромышленника; какъ нибудь съ силами соберусь — катну къ ней. Она въ деньгахъ не откажетъ. Однимъ словомъ: унывать намъ еще рано.

Задохнется. Закашляется.

Я зналь, что у жены такая знакомая была; потихоньку оть жены написаль ей — но отвъта не получиль. Тогда предложиль женъ:

- Трудно тебѣ ѣхать. Хочешь я съъзжу? Жена была противъ:
- Это неудобно. Вѣдь ты съ ней не знакомъ.
 Подожди—сама поѣду.

Откашляется. Отдышится и опять успокоенія:

— Ты не безпокойся за меня. Рождество не за горами. Устроюсь я тогда въ клиники. Тамъ хорошо. Тамъ меня скоро поправятъ. А пока... не уходи отъ меня. Знаешь...

Я знаю, что чѣмъ ни болѣе разговору, тѣмъ болѣе муки, и прошу жену помолчать:

- Родная, помолчимъ. Вѣдь, сама же мнѣ передавала, что говорить много врачи запрещаютъ.
- Да, да. Я тамъ, въ Ялтѣ, и воздерживалась. Но не говорить съ тобой? Это трудно такъ. А потомъ и ты—ты все молчишь. Ну, ну, молчу и я.

Закрывала глаза. По временамъ, точно желая убъдиться не удралъ-ли я, слегка сжимала мою руку и улыбалась.

Это была улыбка души дожившей до смертельной усталости, души, примирившейся съ концомъ и черпающей утѣшеніе въ послѣднемъ счастьѣ: умирать, чувствуя около себя преданнаго человѣка.

Я изнемогалъ.

Тишина, та зловѣщая тишина, нашупывающая своими цѣпкими шупальцами ьъ человѣкѣ только тѣ части мозга и чувствъ, гдѣ нельзя себя ничѣмъ обмануть и утѣшить, гдѣ ужасъ ростетъ

въ ясныхъ, холодныхъ образахъ—такая тишина црила въ подвалѣ.

И съ неимовърными усиліями я напрягалъ свои силы только для одной цѣли: не показать умирающей, что меня покидаетъ мужество.

Но и жену давила эта тишина. И иногда она просила:

— По вечерамъ орутъ, надоѣдаютъ; днемъ молчатъ. Иди и скажи этой дѣтворѣ, чтобы играли. Пусть ихъ визжатъ. Это меня не безнокоитъ.

Я шель въ кухню. Хозяйка въ это время всегда куда то уходила.

Дѣтишки, кутаясь отъ холода въ грязную рухлядь и прижимаясь другъ-къ другу, сидѣли на сундукѣ.

Посинъвшія лица и застывшіе въ тоскливострашномъ страхѣ глаза: за что?!.

И говорить имъ, чтобы они играли — у меня не хватало духу и я возвращался къ женѣ съ заявленіемъ, что этимъ несчастнымъ дѣтямъ не до игры.

И она сознавалась.

— Да, да. Такъ хочется ихъ иногда приласкать, но я ихъ видѣла разъ и съ тѣхъ поръ боюсь видѣть. Скорбь. Куда не оглянись—скорбь.

А потомъ...

Потомъ на дворѣ только еще слегка вечерѣетъ, а въ подвалъ уже угрюмо и упрямо лѣзутъ темные сумерки и прячутся черными тѣнями по угламъ комнаты.

Полчаса — и хищная полутьма: всего вида обстановки комнаты еще не поглотила, но на всемъ отпечатокъ злой тайны.

И жена говорила о своемъ страхъ.

— Дѣдъ, смѣйся надо мной... Я только тебѣ не говорила: дѣвушкой, я иногда въ сумерки боялась быть одной въ комнатѣ; потомъ, когда жила съ тобой—одно время все трынъ-трава; а теперь опять и при тебѣ—не то, чтобы боялась, а такъ... непріятно.

Помолчитъ.

— Видишь кресла, диванъ, столъ и кажется, что они вотъ-вотъ двинуться на насъ. Посмотришь въ углы — тамъ тоже какъ будто бы замышляется противъ человѣка недоброе. И думается въ это время: все противъ человѣка. Вездѣ враждебныя тайны, а человѣкъ, какъ слѣпой: чувствуетъ что-то неладное, а не видитъ, не понимаетъ. Смѣйся, дѣдъ, надо мной, но зажги огонекъ.

Я зажигалъ. Она успокаивалась. И раскаявалась:

— Чушь я тебѣ говорила. Вообще, дрянцо я стала порядочное. Нѣтъ, дѣдъ, возьму себя въ руки и не буду говорить глупостей. Обѣщаю тебя больше не разстраивать.

«Неразстраивать» меня она обфщала каждый

день, но память ее уже покидала и она изо дня въ день повторяла одно и тоже.

Ужасъ, какъ натуру ослабленную болѣзнью, придавилъ ее, всосался въ нее и она уже была не въ силахъ не выражать его.

Къ семи часамъ вечера у ней начинался жаръ: доходило до сорока.

Отъ жара она была возбужденно-весела и, каждый разъ, когда я снималъ термометръ, оживленно спрашивала:

— Сколько? Навѣрно сорокъ?

«Сорокъ» она любила:

— Когда жару нѣтъ — вѣчно зябнешь, киснешь, а при сорока хоть и знаешь, что горишь, но за то чувствуешь, что въ тебѣ есть еще кровь, жизнь...

Пили чай. Она любила чай и по вечерамъ выпивала стакана три-четыре; и тутъ забывалась. Черезъ день-черезъ два съ веселой улыбкой повторяма:

— А знаець, дѣдъ, какъ я люблю чай? а? И непремѣнно изъ кипящаго самовара: паръ столбомъ — иначе не помирюсь. Въ дѣвушкахъ, когда казалось, что останусь старой дѣвой, всегда утѣшалась тѣмъ: «Ну, и ладно. Эка бѣда: остаться старой дѣвой! Плакать не стану: буду имѣть на столѣ вѣчно кипящій самоваръ». Удивительно люблю чай и кипящій самоваръ!

Потомъ переходила на воспоминанія своего дътства, съ нихъ перескакивала на какіе нибудь

моменты изъ нашей горемычной жизни, когда еще была здорова, но больнѣе всего было слушать, когда она съ особенной любовью вспоминала:

— А помнишь, дѣдъ, какъ мы съ тобой чутьли не цѣлый мѣсяцъ питались одной картошкой? а? Тутъ и Рождество и Новый годъ—а у насъ картошка! Вотъ въ это время я поняла: не въ деньгахъ счастье. До жизни съ тобой я такіе праздники встрѣчала отвратительно: традиціонные балы въ офицерскомъ собраніи, шампанское, цвѣты, а въ душѣ тоска, хоть въ петлю лѣзь. Кругомъ пошляки и глупцы. Отвратительно! А тутъ картошка—но смѣхъ, бодрость, мужество, счастье. Восхитительно! Незабываемое, дѣдъ, время. Я благословляла нашу бѣдность: все ближе, все тѣснѣе она насъ связывала. И не будь у насъ бѣдности, кто знаетъ: были-ли мы такъ бы близки, счастливы? а?

Я подавленно улыбался. А иногда, чтобы предотвратить новые взрывы боли, горечи, отчаянія, прибѣгалъ къ уловкамъ:

— Слушай, ты себя совершенно не щадишь. Хочешь, я что нибудь почитаю. Вредно гебъ такъ много говорить.

Она отмахивалась рукою:

— Не будь жестокимъ и неискреннимъ. Ты, вѣдь, хорошо знаешь, что болтушкой я раньше не была. Дѣло дѣлала. Думы думала. Пойми: иного у меня теперь, какъ поболтать, вѣдь ни-

чего нътъ. Злой! Раньше жизнь у насъ шла такъ, что и поговорила бы, да некогда; теперь можно насытиться всласть—опять нельзя.

Помолчитъ. Подумаетъ. И вдругъ вспыхнетъ силой.

— Дѣдъ, я не вѣрю, что умру. Вѣрно: воспоминанія иногда обоюдо-острый ножъ... Понимаю тебя. Но я вѣрю предчувствіямъ: они мнѣ говорятъ, что мы еще поживемъ. Поэтому я и не боюсь ворошить наше прошлое. Въ немъ наши свѣтлыя, бодрыя пѣсни... Ахъ, какой ты сталъ пессемистъ! За уши за это буду драть. Умирать? Здравствуйте, пожалуйста! Я такъ люблю, а тутъ, что за нелѣпость: умирать извольте. Ни за что съ этимъ не помирюсь!

Подходила ко мнѣ и, обнимая горячими, прозрачно-восковыми руками, гладила мои волосы, расправляла какую то особенно не нравящуюся ей морщину у меня на лбу:

— Дѣдъ, не хочу видѣть у тебя этой морщины! У-у, бука! Ну, улыбнись. Улыбнись такой улыбкой, какой иногда улыбался до моей противной болѣзни. Не падай духомъ. Вѣдъ, вотъ я — видишь: не унываю. Ну, улыбнись!

Яркій свѣть огня, повышенная температура, подъемь духа — все это ставило ее на ступень высокой, но зловѣщей красоты, которая на меня дѣйствовала такъ, когда я въ раннемъ дѣтствѣ впервые увидѣлъ въ темную лѣтнюю ночь боль-

шой пожаръ: величіе прекраснаго и трепетъ ужаса.

И такой силой экстаза вѣяло изъ глазъ жены въ то, что «унывать еще рано», что на нѣсколько моментовъ она этимъ экстазомъ зажигала и меня.

А можеть быть, какъ нибудь и изъ этихъ тисковъ вывернемся и жена выдюжить? Развѣ не бывало примѣровъ?

И однажды въ одинъ изъ такихъ моментовъ я даже высказался, что хорошо бы женѣ дожить до весны и уѣхать куда нибудь въ деревню, гдѣ—видѣлъ, молъ, я въ одной деревнѣ женщину—въ послъдней стадіи чахотки, а года черезъ три встрѣчаю вновь и поразился: цвѣтущее здоровье! Сталъ разспрашивать: отчего? Баба говоритъ, что поправилась отъ майскихъ озимей: пила настой изъ нихъ. Или еще случай. Убили мужика. При вскрытіи докторъ удивился: несомнѣнный и въ очень сильной степени бывшій туберкулезъ, но отчего полное зарубцеваніе обѣихъ легкихъ — понять не могъ.

Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ мужикъ можетъ лечиться?

Тоже, чѣмъ нибудь вродѣ майскихъ озимей. Но бросалась въ глаза фигура жены. Всей худобы не видно: скрыта широкимъ капотомъ. Но отъ каждой складки его вѣетъ, что за нимъ, уже то тонкое, роковое, какъ въ срѣзанномъ и, хотя медленно, но неизбѣжно умирающемъ цвѣткѣ.

И готовый уже улыбнуться той улыбкой, когда чорть не страшонь, я улыбаюсь: улыбкой нестерпимой боли, улыбкой мятущейся тоски, улыбкой того непосильнаго надлома, когда отъ безумно вспыхнувшей надежды моментально переходишь въ полосу неизбѣжности.

И грудь раздиралася отъ неистоваго бѣшенства: если бы сила и власть однимъ ударомъ разбить весь міръ!

Но это «еслибы»? И слова изъ себя не выдавишь—все твое неистовое бъщенство безсильно противъ одного: уста скованы холодной усмъщкой, затаившейся въ углахъ губъ.

И со жгучей мыслью, что въ лицѣ этой маленькой женщины гибнетъ та сила духа, которую бы не могли сломить никакія терніи жизни, съ мыслью, что сильный духъ заключенъ въ слишкомъ хрупкую оболочку — я въ приступѣ отчаянія бралъ жену на руки и цѣловалъ ее въ лобъ, въ безкровныя горячія губы.

А... она блаженно улыбалась:

— Какъты цълуешь... безстращно. Это, дъдъ, любовь: оча не знаетъ страха ни передъ чъмъ. Это любовь.

Потомъ останавливала:

— Но довольно. Довольно. Я боюсь... А вдругъ и ты того... зацѣпишь отъ меня. Скверная бо- дѣзнь.

Закрывала глаза и тихо покачивалась у меня на рукахъ.

Чѣмъ жила — прошлымъ, настоящимъ, будущимт, — нельзя было понять: точно видѣла прекрасный сонъ.

Нельзя было понять такъ же и того, когда вдругъ порывисто прижималась ко мнѣ и бурно заявляла: «Жить! Жить!»

Была-ли это въра въ то, что она выживеть, или это была сила тоски, видящей дальше нашего сознанія и чувствующей, что это уже счастье конца—трудно было опредълить.

Къ двѣнадцати ночи у жены жаръ спадалъ; на смѣну являлись—безсиліе и страхъ.

Безъ огня она спать боялась, а при огнъ не могла; промучается съ часъ и сдастся:

Родной, туши лампу. И спать хочу—а не могу.

Огонь потушенъ. Но не спить она. Нътънъть да и спроситъ — тихо, виновато:

- Родной, спишь?
- Нѣтъ.

Потомъ кое-какъ заснетъ.

Днемъ я какъ то не замѣчалъ, что мой ревматизмъ отъ сырости подвала начинаетъ не на шутку разгуливаться: ходилъ и ощущалъ боль въ ногахъ — но до этого-ли, когда слишкомъ боленъ своими внутренними переживаніями? Но ночью ревматизмъ бралъ свое: равнодушно, иногда даже брезгливо я ощупываль все увеличивающуюся опухоль на ступняхъ ногъ и кольнахъ и бъсился, что ноющая боль не даетъ заснуть.

А тутъ еще — сонъ у жены тяжкій: непрерывно-невнятный бредъ.

Невольно прислушиваешься, чтобы понять что нибудь изъ этого бреда, но кром больно сжимающихъ сердце страдальческихъ стоновъ и безсвязно-отрывистыхъ словъ, изъ которыхъ я улавливаю только слова: «Надя... Дѣдъ... Дѣтка моя...»—я ничего не разбираю.

И приноминаю я, какъ по необычайно спокойному лицу жены, когда она только что пріѣхала, я было подумалъ: «Неужели о ребенкѣ забыла?»; — припоминаю, какъ у меня вырвалось однажды сожалѣніе о смерти ребенка и, какъ жена, съ внезапно исказившимся лицомъ, попросила: «Забыть Надю надо, забыть. Никогда не говорить о ней. Это для насъ лучше».

Припоминаю и—«такъ значитъ ребенокъ забывается?!» Потомъ впадаю въ тревожно-безпокойный сонъ, если это можно назвать сномъ.

Собственное тёло казалось мнё огромнымъ по величине, чудовищнымъ по тяжести — руки, ноги, все точно изъ свинца: кажется, что сколько ни силься, но ни за что ни ногою, ни рукою не пошевельнешь.

Языкъ во рту—это въ особенности казалось страшно, — разростался въ ширину и толщину съ пугающей быстротой: я не могъ понять, какъ это непостижимо-ростущая масса вмъщается въ роту, а мысль, что это органъ для выраженія мысли и чувствъ казалась уже полнъйшимъ безуміемъ: лежало вмъсто языка огромное, безсильное тъло, какъ не маленькая частица организма, обязанная служить цълому, а какъ нъчто отдъльное, нъчто, неустанно молящее о покоъ и жалующееся, что покоя нътъ потому, что его давятъ и снизу, и сверху, и съ боковъ.

Все напряжено, все живеть само-по себѣ: тѣло заявляло о своей крайней усталости, о своемъ правѣ на отдыхъ, а сознаніе, какъ бы всколзь съ недоумѣніемъ замѣчало: «Причемъ тутъ я?»—и вновь цѣликомъ отдавалось тому, чѣмъ было занято.

Вотъ скрипнула отъ движенія постель жены. «Надо встать, надо помочь: вѣдь, она даже не въ силахъ укрыться одѣяломъ такъ, чтобы не поддувало. Родная моя... родная...»— внушалъ я себѣ и не могъ сдѣлать ни малѣйшаго движенія.

Слышаль, какъ чиркала спичка и чувствоваль, какъ сквозь вѣки глазъ проникаетъ свѣтъ отъ зажженой свѣчи. Переживалась тяжкая борьба: рядомъ съ глубокимъ стыдомъ за свою черствость, за то, что я не поднимаюсь на помощь къ больной, рядомъ съ этимъ чувствомъ становилось такое чудовище усталости, которое говорило, что вѣдь все безполезно передъ тѣмъ

неотвратимымъ, что надвигается, что ничего иного не надо: лежать съ жаждой ничѣмъ ненарушимаго покоя, а тамъ будь для насъ обсихъ, что будетъ.

Но гогда до моего слуха доходиль и робкій, и виноватый, и умоляющій голосъ:

— Дѣдъ, родной, ты спишь?

Я вскакивалъ, севалъ босые ноги въ безобразно-растоптанные туфли и шелъ къ женъ.

Дрожалъ отъ холода и сырости подвала и говорилъ:

- Ты не стѣсняйся. Всегда меня буди. Ну, чѣмъ тебѣ помочь?
- Укрой меня, холодно мнѣ. И посиди около меня. Прошу тебя: ужасъ на меня какой то на-ходитъ.

И придавленный голосъ жены и ея видъ — это было выше человѣческихъ силъ: на это нельзя смотрѣть.

Я укутываль ее одъялами, накрываль своимъ пальто и присаживался на край постели. Рядомъ съ постелью ставилось на ночь кресло—на немъ бълье для перемъны при-испаринахъ.

Я касаюсь бълья рукой: оно сырое. холодное, побуръвшее и липкое отъ пота.

И этого бѣлья нельзя отдать въ стирку: его всего на четыре смѣны. А испарины настолько обильны, что бѣлья не хватило бы и шести смѣнъ, если бы даже оно было чистое и сухое.

Подкупить-уплываютъ послѣдніе рубли!

И висять три смѣны бѣлья на просушкѣ по угламъ комнаты по цѣлымъ днямъ — и никогда не просыхаютъ.

- Какъ же быть?

И нѣчто страшное, а можетъ быть, и нѣчто Великое—какъ знать?—охватывало меня, порабощало мою волю, властно приказывало совершить: «Бѣжать, бѣжать отъ этого ужаса, ужаса безъ надежды на спасеніе, гдѣ есть только агонія: къ чему она трясется отъ стужи, снимая облитые горячимъ потомъ рубашки и надѣвая сырыя и холодныя? Чего жду я, когда деньги на исходѣ: еще нѣсколько дней—и голодъ, и нечѣмъ будетъ платить даже за эту проклятую яму...»

Припоминался человѣкъ съ непокорнымъ вихромъ волосъ: «по милости этого мы здѣсь, по его любезности... Чего же ждать? Оборвать все... Разомъ оборвать и ея жизнь и свою — вотъ выходъ.»

Я вставаль и отходиль отъ постели; грузно валился на свое ложе — грязная кушетка, а по серединѣ угрожающе торчитъ острый конецъ пружины: неосторожное движеніе — кровавая ссадина на тѣлѣ!

Потомъ вставалъ: забылъ потушить свѣчу. Молящимъ шопотомъ жена просила:

-- Родной, такой ужасъ—приляжъ со мною. Я чувствую, что лицо мое страшно и, отвертываясь отъ взгляда жены въ сторону, отклоняю:

— Тѣсно будетъ — ни ты, ни я не заснемъ.

А бояться? Глупая—чего бояться, когда я отъ тебя въ трехъ шагахъ? Спи, родная. Спи...

Спазма слезъ, спазма бездоннаго страданія, отчаянія, ужаса давила мнѣ горло.

Тушиль свѣчу, ложился на свое ложе: «Она не спить. Мучается отъ страха. Успокоить ее. Лечь съ ней.»

Чудовищныя минуты. Казалось, что стоить мить только лечь и выждать, когда жена заснеть, тогда руки мои невольно охватять тонкую шею жены и сдавять; будеть борьба, будуть конвульсіи — и больше будеть безумной рашимости: разва можно себа представить, если не доведешь до конца этого страшнаго акта, какъ взглянешь въ глаза той, которая знала тебя до сихъ поръ, что ея малайшее душевное движеніе — полный и живой откликъ въ твоей душть, что ея малабишая боль—твоя боль?

Какъ взглянешь въ глаза? Немыслимо взглянуть. Немыслимо лечь около нее. Лечь съ такими мыслями — уже половина преступленія.

А потомъ... потомъ я требовалъ чуда.

«Смерть, я вѣрю въ безсмертіе. Я еще чисть и прекрасенъ. Меня заставили захлебнуться въ униженіяхъ, но никогда, еще ни разу я не унизиль своего Бога и не поклонился идолу. Я еще чистъ и прекрасенъ, но буду ли такимъ, если выживу? Возьми человѣка, когда онъ еще чистъ и прекрасенъ — его жизнь, его любовь за одно право: за право сказать умирающей женщинѣ:

«Родная, воть чудо. Воть наша смерть: мы сейчасъ учремъ вмѣстѣ. Встрѣтимъ свой конецъ со свѣтлой улыбкой, съ миромъ въ душѣ.»

Я требоваль чуда — страстно, напряженно, до изнеможенія: впадаль въ забытье и, тогда изступленный мозгъ кричаль, что не будеть чуда, есть ужась, есть кошмарь, есть агонія, но не будеть чуда.

Шаталась моя крѣпкая, послѣдняя вѣра: вѣра въ безсмертіе души человѣка.

Потомъ опять слышалъ, какъ чиркала спичка: «Опять бѣлье мѣняетъ.»

Чувствоваль черезь сомкнутыя вѣки глазь, что свѣча только что загорѣлась и сейчась же потухла и сознаваль: «Значить, рѣшила остаться въ мокромъ бѣльѣ. Боже мой. Боже мой.»

А затѣмъ... затѣмъ уже чудовищные кошмары, отъ которыхъ я вставалъ утромъ въ холодномъ поту.

Вставалъ — ходилъ по угламъ комнаты, высматривая невѣдомо что, соображая «Что же дѣлать?», забывая названія самыхъ обычныхъ предметовъ и форму ихъ.

Подасть хозяйка самоварь и чайную посуду, а я мучительно ищу стаканы и чайникъ—упорно ищу на столѣ, когда они на столѣ у меня передъ глазами, а когда, наконецъ, найду, дохожу до отчаянія: какъ эта вещь называется?

Было около десяти утра. Я пощель въ лавку за покупками и попросиль жену, чтобы она безъ меня съ постели не поднималась.

На дворѣ стояли тридцати градусные морозы и холодъ въ подвалѣ, вѣроятно, было ниже нуля.

— Родная, не вздумай встать безъ меня. Я тебъ подамъ чай въ постель. Слышишь?

У жены было почему-то исключительно свътлое лицо; горълъ незримый внутренній огонекъ и отъ его свъта каждая линія уже безмърно скорбнаго отъ страданія лица теплилась въ тихой радости.

Она мыт ничего не отвътила, но благодарно пожала руку и легкимъ движеніемъ головы дала понять, что безъ меня не встанетъ.

Я сходиль въ лавку. Поставилъ на кресло около постели стаканъ чаю, зажегъ лампу, керосинку, а потомъ присълъ къ столу.

Хотѣлось о чемъ нибудь поговорить съ женой; впитать въ себя частичку тихой радости ея лица, но заговоришь ли, когда еще два-три дня—и не будетъ ни копѣйки?

Какъ тогда быть? Не написать-ли драматургу Ю. вторично? Но стоитъ-ли писать, когда не отвъчаютъ?

Я кутался въ пальто. Глоталъ до обжога горячій чай и думалъ: къ кому же пойтти? И если пойду — получу милостыню въ 10—15 рублей, проживу ихъ и опять идти—ничего уже не получишь. Агонія—и больше ничего. И не пой-

дешь—гибель, и пойдешь—лишнее унижение и гибель!

Я весь ушель вь то страшно-однообразное страданіе, въ ту бездну, гдѣ призракъ смерти, какъ величайшее благо, а жизнь — кошмаръ, призраки безумія и преступленія: уже и днемъ начинало давить то чудовищное «нѣчто», что мучило по ночамъ.

И вдругъ крикъ, крикъ души, когда она обезумфетъ отъ боли, прорфзалъ зловфщую тишину подвала:

— Дайте мнѣ здоровья... Дайте мнѣ здоровья! Я тупо, взглядомъ безъ мысли съ минуту смотрѣлъ, какъ жена, въ липнувшемъ къ тѣлу мокромъ бѣльѣ стояла на постели на колѣняхъ и тянула прозрачно-восковыя руки не къ стѣнамъ подвала, а туда—внѣ-его, ко всему огромному городу!...

Потомъ спала съ голоса и, уже задыхающимся шопотомъ страстно молила:

— Дайте ми в здоровья... Дайте ми в здоровья...

Я опомнился. Укладываль ее въ постель, куталь въ одъяла и бормоталь:

— Что ты дѣлаешь? что ты дѣлаешь? Боже мой, что она дѣлаетъ?

И не могь оторваться оть ея лица. Съ застывшей мольбою въ глазахъ, съ потокомъ быстро катившихся по впалымъ щекамъ слезъ, съ тонкими струйками крови сочившихся изъ угловъ

губъ – это лицо было переполнено такой силой страданія, отъ котораго я застылъ.

И изнемогалъ въ усиліяхъ: что те надо сказать—и не зналъ что; чувствовалъ, что надо чтото сдълать—и не зналъ.

Мозгъ пронизывали какія-то мысли—яркія и грозныя, какъ молніи, но непосильныя области моего сознанія и непередаваемыя на слова.

И не замѣтилъ я, какъ изъ поля моего зрѣнія исчезло лицо жены: она уткнулась ничкомъ въ подушку и рыдала уже безсильно, беззвучно, съ судоржнымъ трепетомъ тѣла. У меня было состояніе, когда замираютъ ощущенія собственной жизни: дыбились волосы—не чувствовалъ, все тѣло непрерывно, какъ отъ тока, пронизывалось острой дрожью—не замѣчалъ.

Это то, когда душа возбуждена до степени высочайше напряженнымъ переживаній: уже не анализируєть, что съ ней? отчего?—только прислушивается къ своему состоянію и ждеть: а не оборвется-ли въ ней то, что въ ней самое главное, то, что уже какъ слишкомъ туго натянутся струна.

Тутъ нѣтъ выбора—тутъ стерта гранида: страстно-ли она желаетъ этого «обрыва», или бонтся его.

Тутъ необычайно важнымъ кажется послѣдній звукъ—звукъ голоса души, звукъ разверзающій какую-то глубочайшую бездну и открывающій область величайшихъ прозрѣній.

Но звука не было... «Обрыва» не случилось и яркія и гроздыя, какъ молніи мысли остались непоняты.

Пришло то, что посильно мыслямъ и чувствомъ: инслинктивно я опустился на колѣни передъ постелью жены и внезапно почувствовалъ, что это неизмѣримо-малая, атомъ того необъятнаго, передъ чѣмъ я оказался безсиленъ.

А мысль, маленькая, ничтожная мысль человька уже подсказывала:

«Поклонись. Благогов Бйно поклонись! Страданіе-ничего нъть страшите его. Ты видъль н слышалъ то, чего никогда не могъ себъ представить. Ты видълъ и слышаль-и мало понялъ. Если бы видъли и слышали другіе-поняли бы еще меньше. Ибо, если ужъ души-такъ камни, или одна, настоящая, но распыленная на тысячи: только для того, чтобы оскорблять Бога тѣмъ, что «созданъ по образу и подобію его!» Если ужъ зрячіе, то настолько, чтобы видѣть только себя и не замъчать своего бездушія. Ты слышалъ крики-послъдніе крики не къ Богу, а къ земль, къ людямъ. Тебя это ужаснуло, подавило, а другіе равнодушно отвернулись бы. Ты ждешь возмездія: если страданія не безсмыслица, то почему Онъ-Начало и Конецъ, Альфа и Омега не проявляеть Себя? Тебф почудилось, что въ этихъ крикахъ послъдняя угроза міру и посл'єдній вопль къ изв'єчной справедливости, а міръ давно захлебнулся

въ такихъ крикахъ—и все стоитъ. Не видя Рая, можно воображать, что ты въ силахъ
ударить кулакомъ въ его дверь и властно потребовать: «Отворите! Дорогу мнѣ!» Незная того,
когда и какъ, это будетъ «И мнѣ отомщеніе,
Азъ воздамъ», глупо дѣлать небу вызовъ: «Не
боюсь»! Смирись человѣкъ. Подумай, насколько
ты слѣпъ для неба, когда ты настолько слѣпъ
на землѣ: не видишь, какъ надо бороться съ
врагами земли. Поклонись. Благоговъйно поклонись страданію, ибо страшнѣе его ничего нѣтъ
на землѣ. Поклонись и смирись: откинь гордыню
свою!»

Мысль, несчастная, подлая мысль, она учила меня забыть своего Бога и поклониться Идолу!

И казалось: побѣдила. Казалось: пойду и согнусь передъ кѣмъ угодно. Не съ той благородной ненавистью, которая, если ужъ кого презираетъ, такъ къ тому не пойдетъ, а съ той, которую чѣмъ ни больше гнуть, тѣмъ больше она гнется—съ низкой, со змѣйной ненавистью.

Я началъ приходять въ себя—холодно думать: ну, къ каному первому благодътелю идти, затъмъ къ кому—ко второму?

Человѣкъ пять наберется. И все—вліятельные люди. Сумѣень подъѣхать, разжалобить—значить выйдешь изъ тупика, изъ полосы гибели.

Жена повернулась на спину; слезъ у ней уже не было; въ глазахъ свътилось раскаяние за то, что не сдержалась.

Но, когда она увидѣла мое лицо, она схватила мою руку и взмолилась:

— Не надо этого лица... Я такъ всегда боялась, когда оно у тебя стынетъ. Теперь совсъмъ каменное. Не надо этого лица.

Я встаю и смотрю на свое лицо въ зеркало. Оно страшно, но меня не пугаетъ. Върно: оно каменное. Одни глаза живутъ страшно: отъ человъка къ Сатанъ—одинъ шагъ.

-И молчу. дез отесар в выпланае вы дашевижероп

— Понимаю: виновата я,—продолжаеть жена:—Но внезапно на меня это нашло. Сама не знаю какъ. Проснулась—на душъ отъ одного ръшенія было и радостно и свътло. Ты сидишь за столомъ, точно не живъ. Захотълось подшутить надъ тобой: подкрасться и испугать. А когда стала вставать и почувствовала, какъ я слаба, безсильна, тутъ на меня и накатилось.

Я молчу. Новый міръ злыхъ чувствъ и мыслей охватываетъ меня—и я молчу, не зная, какъ заговорить съ ней незлобивой, все прощающей.

А она не отстаетъ. Проситъ:

— Дѣдъ, Бога ради, не надо этого лица! Лучше плакать. Это облегчаетъ. Никто, — кромѣ тебя, да и ты, вѣдь, рѣдко, — не видѣлъ моихъ слезъ, но Богъ мой, сколько я въ своей жизни плакала. И если бы я не могла плакать, кажется я не пережила бы и десятой доли того, что пережилось. «Плакать» въ устахъ жены звучить какъ то особение вдохновение, точно откровение—и во мить перемта: новый міръ злыхъ чувствъ и мыслей тускитеть, сладко саднящее чувство сжимаеть мить горло. И можеть быть, я разревтася бы, если бы жена не заявила:

— Я давно убъждена, что Богъ страдающимъ далъ одно благо: слезы. Научись плакать и многое переживешь, не запятнавъ своего сердца злобой.

Отъ желанія «ревѣть» я вдругь остылъ.

— Нѣтъ, родная. Если ужъ Богъ—такъ Богъ слезъ умиленія, слезъ радости, счастья, слезъ хвалы и благодаренія ему, слезъ религіознаго экстаза, но только не слезъ страданія. Не могъ Онъ творить міръ съ желаніемъ такого «блага». Это благо дадено людямъ людьми!

Я много говорилъ на эту тему женѣ. Говорилъ жестко, но съ тѣмъ старымъ, вѣрнымъ чувствомъ, которые не гнется и передъ гибелью.

Вошла хозяйка и подала открытку. И не уходила—смущенно помялась и грубо:

 Извините. Деньги за комнату. Мѣсяцъ вчера кончился.

Я смотрю въ записную книжку: хозяйка права.

Со вздохомъ облегченія я говорю хозяйкѣ, что постараюсь сегодня и передаю открытку женѣ.

Хозяйка уходитъ. Смотритъ жена на открытку—и тоже вздохъ облегченія:

— Какъ кстати? а?

Помолчала:

— Боже мой, какъ я боялась, когда у насъ нечѣмъ будетъ платить за комнату! Правда, я кое о чемъ думала... Но остаешься ты... Да и хозяйка бѣдна. Гдѣ ей ждать?

Я съ недоумѣніемъ смотрю на жену:

— Я тебя что-то не понимаю. Что значить «остаешься ты?»

И уже весело, жена отмахивается рукою:

— Иди. Иди. Не опоздай. Потомъ поговоримъ. Ей-Богу, намъ везетъ!

«Везетъ?»

Съ усталымъ, глубоко-печальнымъ чувствомъ я одъваюсь и ухожу.

Открытка была изъ редакціи журнала «Б. Г.». Тамъ мнѣ пришлось имѣть дѣло съ однимъ изъ тѣхъ ловкачей—издателей, (онъ же и писатель, но уже сошедшій со сцены) у которыхъ только обѣщается участіе первоклассныхъ писателей, а ѣдутъ на тѣхъ, кого къ нимъ нужда загонитъ.

Съ первыхъ же словъ такой издатель меня порадовалъ:

— Беру вашъ разсказъ. Пусть дътишки почитаютъ.

Разсказъ былъ далеко не для дѣтей—для иныхъ и взрослыхъ по настроенію тяжелъ.

И въ первый моментъ у меня было явилас мысль, что этотъ редакторъ совершенно не уясняетъ себѣ, что нужно давать для дѣтей, но потомъ взглянулъ на него и понялъ... тактику этого редактора.

Поняль и промолчаль: тамь ждущая денегь хозяйка, умирающая жена... При такихь условій ставить не будешь.

— Сколько бы вы хотыли получить за свой разсказъ?

Я отвъчаю, что редактору это лучше знать.

— Я имѣю обыкновеніе платить 40—50 рублей за листь. Дѣтская литература у меня оплачивается дешевле. Но за вашу вещь я вамъ заплачу, какъ за литературу для взрослыхъ. Молодежь надо поддерживать. Въ вашемъ разсказѣ нѣтъ и полупечатнаго листа...

Я говорю, что знаю свой почеркъ: въ разсказъ около печатнаго листа.

— Не можеть быть.

Я говорю, что-вѣрно.

— Вѣрно? Если вы увѣрены, мы сдѣлаемъ такъ: когда вещь напечатается и, если дѣйствительно окажется больше, я за разницу потомъ доплачиваю. А пока... опѣниваю вашу вещь въ двадцать рублей, —десять получайте авансомъ.

Начинается торгъ. Слишкомъ ужъ онъ энергично меня объезжаеть и я чувствую, что такіе не обижаются, когда съ ними торгуются. Я выговариваю за вещь 25 руб. и деньги все въ

виду крайней нужды сейчасъ же. Онъ долго жалуется, что подписчиковъ пока мало и даетъ только 15.

Прощаюсь и ухожу. Онъ меня провожаетъ.

— A вы ничего не имѣете, что разсказъ пойдетъ для дѣтишекъ?

Хмуро у меня вырывается:

— Чтожъ я могу имѣть? Воля ваша.

Онъ усмѣхается въ бороду.

— Но кто намъ мѣшаетъ передумать? Для дѣтей, правда, немного тяжеловатъ... Приносите еще что нибудь. Люблю съ молодежью имѣть дѣло: на первыхъ порахъ работалъ у тебя, о тамъ глядишь выросъ въ знаменитость. Отрадно!

Когда я пришелъ домой—жена меня встрътила тревожнымъ вопросомъ:

— Что у тебя случилось? Ты совсѣмъ позеленѣлъ.

Я показываю женѣ деньги—она успокаивается;

— Ну, слава Богу.

Съ недоумѣніемъ смотрю на нее: чему она радуется?

Присаживаюсь на край ея постели и готовлюсь къ тяжелому объясненію. Для меня ясны, какъ никогда, слова Гете: «Мысль, которая не ведетъ къ дъйствію, приводитъ къ безумію».

И понуривъ голову, я говорю женъ:

— Уплатимъ мы за комнату, что у насъ останется? Родная, если бы ты согласилась лечь въ

больницу? Такъ... на время--до клиниковъ? Подумай.

Дальше говорю, что, если бы я получиль рублей 30—40 аванса, тогда бы изъ этой ямы мы выбрались, а теперь, съ этими деньгами нечего и думать: на такія деньги найдешь такую же яму и послѣдніе рубли на переѣздку истратишь.

Говорю вяло. Говорю о томъ, что само собою ясно, и о чемъ говорить не надо.

Жена меня прерываетъ:

— Уже полумала, дѣдъ. Сегодня ночью еще это рѣшила. Вези-ка завтра меня въ больницу. Такъ намъ обоимъ будетъ лучше.

И съ улыбкой:

— Удивляюсь, какъ эта мысль не пришла мнѣ въ голову раньше! Обрадовалась, что очутилась около своего дѣда и давай его мучить.

Съ горечью я цѣлую руку жены. Мысль о больницѣ меня начала посѣщать уже недѣли двѣ, но все держался: больно было думать, какъ отразятся на женѣ халатность больничныхъ порядковъ, грубость прислуги.

Держался и надъялся, что можеть быть больница минуется, но минуешь-ли чего тамъ, гдѣ за вещь уже по самой бѣдной цѣнѣ нужно получить руб. 75, но получаешь 25?

Больница? Злачныя мъста, куда городъ сваливаетъ, какъ сваливается мусоръ на мъстахъ свалки за городомъ, жертвъ своихъ преступленій. Къ вечеру я слегь: прежде былъ ознобъ, потомъ температура 40 съ десятыми.

Жена сидъла около меня и плакала, и со страхомъ просила:

— Дѣдъ скажи, что нибудь. Нельзя молчать... Понимаешь...

Я улыбался:

- О чемъ же мнѣ говорить!

- О чемъ нибудь. Понимаешь... Ты что думаешь? Припомни-ка, какъ у меня чахотка начиналась: такой же сильный ознобъ, потомъ жаръ. Ты заразился отъ меня... Я теперь повърила: мы съ тобой роковые люди. Какъ припомнишь все, что мы съ тобой пережили, какъ несчастія одно другого тяжелъе складывались одно за другимъ-нельзя не върить! Подумай, сколько данныхъ у насъ было на жизнь и вотъ мы погибаемъ. У тебя—дарованіе. Ты его не самъ выдумалъ. А мой голосъ? Помнишь его? А теперь вотъ я хриплю. Я его уже выхаркала. Помнишь, когда мы поняли, что такъ намъ не выбиться и ръшили, что яброшу на время курса и заберемся куда нибудь въ глушь? Какими мы побъдителями смотръли: я буду въ какой нпбудь школф учить дфтишекъ, давать частные уроки, а ты отдашься своему дѣлу безъ заботъ о кускѣ хлѣба. А что вышло? Оставалось выждать четыре мѣсяца мѣста учительницы, а тутъ заболълъ нашъ ребенокъ... Подошла осень, – ребенокъ мелленно умиралъ, заболъла я. Крымъ...

Тамъ оставила Надю... Прівзжаю къ тебь—воть и ты готовъ! Ты это понимаешь? Столько данныхъ на жизнь было у насъ—и мы погибли! Если можно было бы вернуть жизнь, не такую, о какой мы думали, а хоть маленькую—забыть о томъ, что есть литература, консерваторія, потомъ сцена—ничего не надо забиться бы куда нибудь въ глухой уголокъ, учить бы дѣтишекъ и доживать тамъ бы жизнь!... Но нѣтъ... ничего нѣтъ. Мы, дѣдъ, роковые люди.

Я встаю и сажусь около жены. Ея лицо— жуткое лицо: полно страшныхъ тѣней погребенныхъ надеждъ.

Забита маленькая женщина, забита до нельпой въры въ существование рока! Забита до того: видитъ только цѣпь несчастій и забываетъ ихъ сопоставлять съ обстоятельствами—съ тѣмъ, отчего и какъ несчастія слагались.

Но я помню. Я не забыль: отчето и какъ? И начинаю разсказывать объ этомъ женъ. Послъдовательно.

Отъ батюшки—и до подвала! Я напоминаю ей о мѣсяцахъ питанія одной картошкой... О томъ, въ какихъ углахъ мы жили: развѣ мыслимо работать тамъ, гдѣ за стѣнами и день и ночь шумныя оргіи? Кто видѣлъ мои муки, когда я ломалъ перья, рвалъ бумагу, уничтожалъ написанныя вещи? Кто насильно оттаскивалъ меня отъ стола, когдя я по цѣлымъ ночамъ просиживалъ

около него, а въ головѣ одна мысль: работа Сизифа?

Я долго говориль. Шагъ за шагомъ я раскрыль женѣ нашъ путь—путь «отъ батюшки—до подвала»—и жена успокоилась.

— Ну, ладно, довольно дѣдъ. Теперь не боюсь.—Чудилось одно: стоитъ надъ нами темный рокъ и давитъ, и истязуетъ насъ. И жить не хочу. Честное слово! Обидно жить въ такомъ мірѣ, гдѣ такія большія драмы разыгрываются такъ просто, и даже глупо. Глупо? Правду я говорю.

Я подумаль и смѣялся: смѣялся тѣмь смѣхомъ, который много видѣлъ, что, дѣйствительно не будь бы въ человѣкѣ столько подлости, глупости и безсердечія—не было бы въ жизни того трагизма, какой имѣется.

Темна и трагична судьба какого нибудь погибшаго человѣка, когда не знаешь исторіи его гибели, но если узнаешь—трагизма никакого; трагизмъ въ завѣсѣ неизвѣстности—откинь эту завѣсу—ясно: просто, подло, глупо, давимъ другъ друга.

А всѣ эти три слова объединяетъ одно: Безразличіе, Великое Безразличіе!

Явись самъ Богъ, не грозный и карающій, а милосердный мягко напоминающій: «Опомнитесь! дѣти! Что вы дѣлаете? Обернитесь кругомъ, вглядитесь и вдумайтесь въ то, что вы создали, что называете Жизнью. Напоминаю вамъ,

дъти, Я-Отецъ вашъ небесный. Задумайтесь дъти!»

Но «дѣти» не задумаются. Они пройдутъ мимо такого Бога—не грознаго и карающаго, а милосерднаго, ибо у нихъ свой богъ—богъ Великаго Безразличія. Тотъ богъ, для котораго нѣтъ ничего святого; его ничемъ непроймешь: онъ закованъ въ непроницаемую броню. Ударь его въ самое его больное мѣсто—онъ отдѣлается улыбкой, смѣхомъ, местью, клеветой, —чѣмъ угодно, но только не тѣмъ, чтобы задуматься надъ собой.

Онъ—не сомнѣвающійся въ себѣ геній! И для этого генія всѣ, кто только не желаетъ поклониться ему—всѣ роковые люди: всѣхъ постарается раздавить. Какъ? Просто, глупо и подло! Онъ—сатана міра. Тотъ «тать въ нощи», который вкрался въ ночь мыслей и чувствъ человѣчества и посѣяль въ пшеницѣ плевелы.

И я смѣялся надъ этимъ богомъ человѣчества; смѣялся—раздавленный имъ—этимъ богомъ Великаго Безразличія.

Жена слушала. Долго слушала—и поняла:

— Дѣдъ, ты усталъ. Только теперь я поняла, какъ ты усталъ. Боже мой, какъ ты усталъ! И я сознался. Больно было сознаться ей, единственной—но я сознался:

— Усталъ, родная, усталъ. Отдохнуть вмѣстѣ съ тобою, около тебя—больше ничего не надо. И я приникъ головой къ плечу жены.

Такъ мы сидѣли долго и молча. Потомъ улеглись спать. Вмѣстѣ. Два пышущихъ жаромъ тѣла—плотно тѣло къ тѣлу.

Жеча ликовала:

Вотъ это хорошо. Такая спокойная ночь:
 чувствуя тебя около себя я ничего не боюсь.

И вѣрно: она скоро заснула. А я... я не спалъ. Я подводилъ итоги.

Конецъ! Добила литература!

Припоминались дикіе отвѣты — эти дикіе отвѣты изъ редакцій по поводу одной и той же вещи. Одинъ пишетъ, что разсказъ слишкомъ фотографиченъ, другой — разсказъ загроможденъ искусственными подробностями! Одинъ пишетъ, что вторая половина разсказа великолѣпна, но первая половина мѣшаетъ ему воспользоваться разсказомъ: она вызываетъ брезгливое чувство.

А другой—первая половина разсказа написана жизненно, даже ярко, но вторая, та, что въ глазахъ перваго великолъпна, —блѣдна и надумана.

Кому върить? Кто болъе правъ? И сколько такихъ отвътовъ? И въ каждомъ мука. И пока до тъхъ поръ, пока не пришла страшная мысль: «Да полно! Да понимаютъ-ли они искусство? Стоитъ-ли обращать вниманіе на людей, на нищихъ духомъ, у которыхъ на одну и ту же вещь нътъ одного мнънія?»

Я поняль—но легче-ли? Колесо нужды, мытарствъ, гибели давило безъ останова. Я понялъ, что одни тамъ—бездарности въ квадратѣ, дру-

rie — не отнимешь немного истинно художественнаго чутья у кого на грошъ у кого на копъйку, но и тутъ бъда: Великое Безразличіе! Какое имъ дѣло до того, при какихъ условіяхъ ты работаешь, что можно создать въ холодъ, голодъ, до того, что недугъ ломитъ и геній? Какое имъ до всего этого дѣло? Ты дай имъ Гоголя. Не Гоголя первыхъ его вещей, а того, кто создалъ «Ревизора», «Мертвыхъ душъ». Дай имъ Достоевскаго. Не того, что написалъ «Бѣдныхъ людей», а того, автора «Преступленія и наказанія», «Бісовъ», «Братьевъ Карамазовыхъ». Ты дай имъ то, что видитъ слѣпой, а они они будутъ лѣтъ пять смотрѣть и тогда только нищіе духомъ разсмотрять, что за «Бѣдными людьми» и «За вечерами на Диканькъ» прятались безсмертныя произведенія.

Они взвѣшиваютъ невѣсомое, обнимаютъ необъятное, — они: страдающіе дальтонизмомъ. Оскаръ Уайльдъ говоритъ: «Только великимъ мастерамъ слога удастся быть темными». Но попробуй-ка быть съ ними темнымъ, если ты безъ имени: не разсмотръли — не взяли; попробуй быть яснымъ—не понравился: не подходишь подъ вкусъ, подъ то, чего моя нога хочетъ. А когда найдется этотъ соотвѣтственный твоему вкусъ?

Ищи его. Надъйся, а нужда дълаетъ свое дъло. Ищи и упадешь: гибель и смерть — вотъ награда. Томила меня литература. Томила. Горящій въ жару мозгъ все остро помниль, что я и жена пережили на этомъ пути.

И ощущая горячее тѣло жены около себя я мысленно передъ нею каялся.

— Родная, зарѣзалъ я тебя. Зарѣзалъ! Въ часы страшной ночи мы живемъ, когда по словамъ кого-то «лучше не родиться, или быть съ душой изъ камня». А я, — безумецъ: образомъ грознаго раздумья я хотѣлъ подняться надъ міромъ въ эти часы ночи. Жилъ, страдалъ и думалъ выработать изъ себя нѣчто такое — читатель тебя и въ глаза не знаетъ, но почиталъ тебя и безпокоиться: чудится ему, что за нимъ всюду высматриваетъ сурово-предостерегающій глазъ. Но безумецъ я, безумецъ, это я думалъ тогда, когда не зналъ, что есть сила — Великое Безразличіе. Зарѣзалъ я тебя, родная. Зарѣзалъ!

А каясь, я инстинктивно жался къ женѣ все тѣснѣе, и такъ до тѣхъ поръ, пока она не проснулась.

- Не спишь, дѣдъ?
- Нѣтъ.
- Почему?
- Не спится.

Тихо гладить дорогая рука мои волосы и тихо говорить:

— Усталъ ты. Усталъ. Но погоди: можетъ быть еще отдохнешь. Можетъ быть выживешь и отдохнешь: у тебя искусство.

Я смѣюсь.

Искусство? Когда то благоговѣлъ: «этотъ домъ домомъ молитвы нареченъ.» Но узналъ — и не то, не то. И этотъ домъ давно сталъ вертепомъ разбойниковъ мысли. Негдѣ тамъ отдохнуть. Негдѣ! Но гдѣ же еще отдыхъ? На чемъ? Не на томъ-ли, что вотъ тамъ за стѣной—дѣти, у которыхъ маленькая игрушечная лампа — Солнце?! Тысячи лѣтъ прошли, а эти вотъ великія, прекрасныя слова «Смотрите, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ, ибо говорю вамъ, что Ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ лицо Отца моего небеснаго»— тысячи лѣтъ прошли, а эти слова остаются до сихъ поръ свидътельствомъ на Великое Безразличіе!

Тихо гладитъ дорогая рука мои волосы — и тихо я говорю:

— Усталъ, родная, усталъ. Раздавленъ Великимъ Безразличіемъ. Много разъ изъдуши рвались проклятія этому богу земли — и не вырвались. И хорошо. Такой врагъ не заслуживаетъ проклятія. Будешь умирать — послѣдняя улыбка, улыбка Жалости и Презрѣнія — вотъ все, чего этотъ богъ земли достоинъ.

Засыпаетъ жена, засыпаю, наконецъ, и я.

На слѣдующій день до самаго вечера я лежалъ на постели, какъ пластъ, и удивлялся:

[—] Родная, ты столько больна и въ силахъ

еще вставать, а я не могу. Неужели я настолько слабъе тебя?

- Это въ началъ. Потомъ попривыкнешь. Поила меня чаемъ.
- Ну, вотъ, дѣдъ, мы и квиты: привелъ Богъ и за тобой поухаживать. И вотъ что: мы должны лечь въ какую нибудь одну больницу. Понимаешь: въ одну. Будемъ навѣщать другъдруга! Непремѣнно въ одну.

И радовалась, какъ ребенокъ, а потомъ вдругъ усомнилась:

— А если въ одну обоихъ не возьмутъ? Тогда что? Съ этимъ никакъ нельзя помириться: ты не будешь видѣть меня, я тебя. Это невозможно!

Я успокоиль ее, что попадемь въ одну:

- Придемъ, родная, и скажемъ: супруги, молъ, сдѣлайте такую божескую милость не разлучайте: примите насъ обоихъ.
 - И ты думаешь, что не откажуть?
 - Думаю, что нътъ.

Она повѣрила, что «не откажутъ» и, опять радовалась, какъ ребенокъ тому, что «будемъ другъ-друга навѣщать»... А я смотрѣлъ на нее и думалъ: Вотъ она жизнь: такъ мѣняется всѣ понятія о счастьѣ, о радости... Она рада и я радъ; рады грядущему концу, рады возможности слѣдить за умираніемъ другъ-друга!»

Отпили чай. Жена легла вмъстъ со мной, — и такъ мы, въ тихомъ забытье, овъянныя при-

миреніемъ пробыли въ строгомъ молчаніи до вечера.

Но вечеромъ, часамъ къ семи, я уже началъ хмуриться: появлялся приливъ силъ и не чувствовалось никакихъ признаковъ озноба.

А въ восемь часовъ я поднялся съ постели и зажегъ огонь. Жена поднялась вслѣдъ за мной черезъ нѣсколько минутъ.

Поднялась, взглянула мнѣ въ лицо, хотѣла что-то сказать и не могла: я поняль, что мое лицо искажено тѣмъ тяжко-злымъ страданіемъ при видѣ котораго у жены всегда слова замирали на устахъ.

И чего въ это время у ней по отношенію ко миѣ было больше — состраданія или боязни — это рѣшить было трудно.

Такихъ случаевъ до этого случая въ нашей жизни было три и, во всѣ три случая — она молчала и я молчалъ, пока со мной не проходило. Но этотъ четвертый случай—его, надломленная болѣзнью, она не вынесла: уткнулась лицомъ въ подушку и тихо, со страхомъ плакала.

А я присѣлъ около нее и долго силился сказать нѣсколько словъ—и не могъ: это страданіе, для выраженія котораго нѣтъ словъ — всѣ слова забываются.

Наконецъ, съ величайшими усиліями мысли, мысли нѣсколько разъ провѣряющей себя, а тѣми-ли словами она выразитъ то, что хочетъ выразить—я съ трудомъ изъ себя выдавилъ:

— Жизнь... опять жизнь... Но тамъ ничего... шичего, родная, кромѣ отвращенія, отчаянія и боли. Пойми меня!

Но она меня или не поняла, или побоялась взглянуть мнѣ въ лицо—плакала и молчала.

Потомъ затихла. А я сидѣлъ—человѣкъ раздавленый тѣмъ, что повѣрилъ въ осуществленіе Чуда: у меня случилась простая лихорадка, то что не случалось со мной рѣдкую зиму, а я принялъ лихорадку за начало той же болѣзни, какъ и у жены—за чахотку и повѣрилъ въ Чудо!

Человъкъ, раздавленный тъмъ, что ему вновь приходится, принимать жизнь, тогда когда... когда съ огромнымъ облегченіемъ думалось, что крестному пути—конецъ... нъсколько мъсяцевъ медленнаго и спокойнаго умиранія — и конецъ!

Такъ, молча, я сидѣлъ около жены часовъ до одинадцати, а потомъ всталъ, пододвинулъ къ постели жены кресло, поставилъ на него свѣчу, посушилъ надъ лампой ся бѣлье ей на ночь, и двинулся къ своему ложу. Бросилъ на него подушку и прилегъ и ждалъ, когда жена мнѣ скажетъ, чтобы я потушилъ огонь.

Подождала и она, и затѣмъ — тихо обмолвилась:

— Дѣдя, со мною уже больше не ляжеть? Опять меня эта просьба уже пугала, опять страшные вопросы: къ чему эта агонія? Лучше оборвать и ея и свою жизнь сразу.»—Но столько въ вопросѣ жены было мольбы, мольбы уже

не взрослаго человѣка, а мольбы замученнаго ребенка, что я покорился.

Молча раздѣлся и молча улегся съ ней. Молча и тупо смотрѣлъ, какъ она передъ сномъ въ течені получаса содрагалась всѣмъ тѣломъ и синѣла отъ кашля и отъ труда вывести изъ легкихъ безпокоющую мокроту.

Наконецъ, откашлялась, отхаркалась и, медленно засыпая, благодарно пожимала мнѣ руку и лепетала:

— Вотъ это хорошо. Такая спокойная ночь. Ничего съ тобой не боюсь. Послѣдняя ночь! Послѣдняя ночь, родной.

Утромъ меня разбудила жена:

— Дѣдъ, вези въ больницу.

Рѣшили, чтобы не опоздать, не пить чаю.

Я помогаль одъваться женъ. Это взяло много времени: и слаба она была уже до той безпомощности, когда сама не въ силахъ одъть ничего, а тутъ еще душилъ кашель.

Наконець она одѣта. Одѣваюсь я и встрѣчаюсь съ ея взглядомъ и вижу, что она рада не за себя, а за меня, за то, что мнѣ безъ нее будетъ легче, а рядомъ съ этой радостью такая огромная, неподавимая тоска: какъ то я останусь безъ нее?!

Я бросаю свое пальто на постель и съ минуту стою молча.

Обо мнѣ, всегда думаетъ обо мнѣ! Какъ бы далеко она отъ меня не была—я это чувствовалъ. Странно. Идешь и задумаешься, сидишь и забудешь и вдругъ поймаешь себя, что задумался и забылся отъ чувства: чудится, что надъмоей головой по матерински благословляющая меня рука—рука жены. Одна только рука—ни лица, ни фигуры.

Съ минуту я стою молча — и вдругъ инстинктивно поддаюсь всѣмъ тѣломъ къ женѣ и говорю:

- Тяжело мнѣ будетъ безъ тебя. Тяжело. Жена хочетъ встать, но безсильна. Важность момента подсказываетъ мнѣ, чего она хочетъ, и я наклоняюсь къ ней—она меня цѣлуетъ долгимъ поцѣлуемъ и тихо говоритъ:
- Борись. На жизнь благословляю, дѣдъ, на жизнь. До конца борись.

А я смотрю ей въ глаза и вижу, что любовь жены мучительно страдаетъ отъ сознанія, что она умретъ, а я останусь; что можетъ быть ее мѣсто замѣститъ какая-нибудь другая женщина—я вижу, что эта любовь только тогда бы не мучилась, когда бы ея избранный одновременно съ нею сошелъ въ могилу, и все-таки, во имя какого-то внутренняго убѣжденія эта любовь ломитъ себя и благословляетъ на жизнь.

Но везти въ больницу жену мнѣ не пришлось. Въ это время пришла къ намъ одна знакомая жены по курсамъ и узнавъ о цѣли нашихъ сбо-

ровъ, высказала, что помѣстить жену въ больницу мнѣ не удастся, такъ какъ больницы страшно переполнены.

Мы съ женой падаемъ духомъ окончательно. Я молчу, жена, готовая заплакать, махаетъ ру-кой и говоритъ:

— Часъ отъ часу не легче.

Но выручила та-же курсистка: въ одной изъ больницъ у ней былъ знакомъ главный врачъ и она надъялась, что ей онъ не откажетъ.

Я облегченно вздохнулъ, жена обрадовалась и залепетала какъ ребенокъ:

— Ну, вотъ. Ну, вотъ. И хорошо. Ъдемъ Юля! Удачно. Очень удачно ты пришла.

Перевела глаза на меня:

— А то, въ самомъ дѣлѣ,—ты только подумай, дѣдя?—что бы мы стали дѣлать, если бы не приняли? Ужасно!

Перевела духъ и опять къ курсисткъ:

— Онъ у меня такой славный, Юля. Такой онъ у меня хорошій, Юля.

Я въ это время стояль около стѣны, прислонившись къ ней спиной и послѣднія фразы жены—неожиданныя, сказанныя уже совершеннымъ тономъ того ребенка, который внезапно дѣлится тѣмъ, отчего онъ счастливъ,—едва не отняли у меня самообладанія: по всему тѣлу побѣжала дрожь, спазмы давили горло, подгибались колѣни.

Болѣе чѣмъ когда-либо мнѣ стало ясно, ка-

кую большую и прекрасную душу я утрачиваю въ лицѣ этой маленькой женщины и, какъ ни-когда—страшный моментъ сознанія, что горе и муки жизни у иныхъ душь не въ силахъ измѣнить ихъ сердца до могилы.

Припомнилась вся жизнь, то, чего я никогда не могъ понять: какъ такая маленькая женщина способна была пережить нѣчто похожее на сплошной кошмаръ—отъ дней юности и до жизни со мной,—и не пасть подъ нимъ, а подняться, закалить себя до характера, передъ которымъ я тоже недоумѣвалъ: женщина и такое «желѣзо»?..

И что же въ награду?

Большая душа прошла непосильно-крестный путь и ни одна капля изъ выпитой ею огромной чаши жизненной горечи не замутила свътлой глубины этой души.

Все цѣло, все сохранено, чистоты и благоуханія цвѣтовъ души не въ силахъ была забрызгать грязью и отравить своимъ зловоніемъ, жизнь—и нѣтъ награды: не было отдыха, такого кратковременнаго отдыха, который примиряетъ съ пережитымъ, не было тихой радости души, когда бы она безъ боязни, безъ трепета заглянула въ грядушій день и могла-бы сказать: «Благословенна жизнь!»

Не было отдыха—онъ все гдѣ-то чудился впереди; и такъ до тѣхъ поръ—пока на лицо не явилась смерть. Пройденъ Крестный Путь—для чего? Величайшій ли это обманъ, гдѣ награда, кромѣ могилы и червей—ничего, или... Предверіе къ Величайшему Вознесенію?

Такъ страстно хотѣлось вѣрить: «къ Вознесенію!».

Чтобы скрыть дрожь, сохранить внѣшнее самообладаніе я жадно закурилъ папиросу.

И жена сейчасъ же къ этому придралась:

— Вотъ, вотъ, Юля, видишь: онъ куритъ! Онъ дымитъ. Онъ портитъ воздухъ. А мнѣ это полезно?

Для нее было важно не куреніе, не дымъ, да и дыму не было: я его выпускалъ черезъ спеціально для этого продѣланное въ перегородкѣ отверстіе въ кухню, надъ чѣмъ жена раньше улыбалась и просила курить въ комнатѣ и не бѣгать къ этому отверстію—для нее важно и обидно оказалось то, почему ни я, ни курсистка ни единымъ звукомъ не раздѣлили ея восторга, что «онъ у нея такой славный, такой хорошій».

Когда она говорила объ этомъ «славномъ», ея глаза искрились отъ счастья, теперь въ нихъ свѣтилось и обиженное и раздраженное недоумѣніе: «Какъ они этого не могли понять? Въ особенности, такъ всегда хорошо понимавшій ее мужъ?»

А поэтому онъ долженъ быть и наказанъ! И она начала жаловаться: — Юля, онъ курить! (Я уже и папироску затушиль). Онъ обо мнѣ совершенно не заботится. Совершенно забываеть. Юля, онъ курить? а? Ты подумай...

Курсистка натянуто улыбалась: ее давили и этотъ подвалъ и состраданіе къ больной.

Улыбался такой же улыбкой, какъ и курсистка, и я: улыбкой, видящей вспышку ребенка.

Улыбался и видѣлъ, что этотъ гнѣвъ для того, чтобы смѣниться на милость.

Курсистка встала:

— Ну, пора. А не то опоздаемъ.

Я взялся за свое пальто, но жена быстро остановила?

— Нѣтъ, нѣтъ, дѣдъ! Ты оставайся. Сегодня морозъ. А пальтишко, надо сказать, у тебя дрянь: промерзнешь до костей. Сиди-ка лучше дома. Мы и съ Юлей доѣдемъ.

Помолчала.

— Ахъ, дѣдя: я плоха, но и ты не цвѣтешъ. Я бросилъ свое пальто и подошелъ къ ней, помогая ей подняться. И видя ея страшную слабость, зловѣщую остроту всего лица—почувствовалъ, что смерть ея не за горами: самое большое два-три мѣсяца.

Поцъловались. Большая любовь, любовь матери съ огромной тоской брызнула на меня изъея глазъ? «Какъ онъ можетъ быть безъ меня?..»

Я всунулъ въ руку жены рубль и чуть слышно бросилъ:

Родная, это пока тебѣ на расходы.
 Жена опустила рубль въ карманъ молча.

Тронулись. Одежда ее тяготила, голова, укутанная въ большую шаль, пыталась обернуться назадъ л не могла.

А обернуться хотѣлось. И сдѣлавъ нѣсколько слабыхъ, но безуспѣшныхъ попытокъ, она съ досадой мотнула головой и заявила:

— Юля, не могу на тебя посмотрѣть. Вотъ какая я дохлая лошадь. Да. Но ты, Юля, не думай, что я давеча на дѣда своего въ серьезъ. Въ жизни неповорчать немыслимо. Онъ у меня славный малый. Ей Богу.

А Юли и не было: она вышла раньше, чтобы взять извозчика.

Въ выходѣ изъ подвала хозяйка свѣтила намъ лампой.

При моей помощи и помощи хозяйки жена кое-какъ осилила крутыя ступени выхода, но на послѣдней задохнулась и присѣла.

Я стоять передъ ней безъ пальто, въ одной рубашкѣ. Это ее привело въ ужасъ. Но не могла говорить: жадно хватала воздухъ ртомъ и махала рукой, чтобы я ушелъ.

Я стоялъ и говорилъ, что провожу ее до извозчика и тогда уйду; она, наконецъ, набралась силъ и сказала:

 Съ мѣста не сдвинусь, пока не уйдешь. Не мучай меня.

Подходила курсистка. Еще разъ я взглянулъ

на жену и пошелъ въ свою яму съ убъжденнылъ чувствомъ, что смерть жены близка.

Первое, что мнѣ бросилось въ глаза въ моей комнатѣ—это ея постель. Я присѣлъ около постели и застылъ.

Это не было просто отчаяніе, — это была летаргія отчаянія: отчаяніе, ради отчаянія.

Постель была въ безпорядкѣ: въ ногахъ скомканы одѣяла, простынь, обнажая жалкій, залитый потомъ, соломенный матрацъ, сползла на полъ, подушки смяты.

Росла мука: «И вотъ тутъ-то лежала она дни и ночи... цѣлый мѣсяцъ. Покорно: безъ врача, безъ лекарствъ. Одинъ мѣсяцъ — и гибель, смерть».

Потомъ исчезли изъ виду подушки, матрацъ, одѣяло—видѣлся только тотъ страшный образъ, когда жена стояла на этой постели на колѣняхъ и молила, протягивая руку ко всему огромному городу: «Дайте мнѣ здоровья!»

Такъ я сидѣлъ—сколько времени?—развѣ отдашь себѣ отчетъ въ этомъ?

Сидѣлъ неподвижно. Потомъ почему то запустилъ руку въ волосы и вынулъ—между пальцами осталось много волосъ; запустилъ еще еще больше. Съ недоумѣніемъ я посмотрѣлъ на эти невырванныя, а вылѣзшія волосы, стряхнулъ ихъ на полъ и вдругъ ощутилъ такую внутреннюю пустоту, такой холодъ, такую безотчетность, гдѣ, казалось, кромѣ нечего ужъ дѣлать, какъсидѣть, запускать руку въ волосы, вынимать и наблюдать, какъ они отдѣляются отъ руки и летятъ на полъ.

Кромѣ этого нечего дѣлать!

И за такимъ дѣломъ меня застала вернувшаяся курсистка. При видѣ ея—я внезапно почувствовалъ ужасъ страшнаго одиночества. Боль одиночества была знакома и раньше до встрѣчи съ женой, но тогда она была въ иныхъ формахъ: всегда сознавалось, что міръ великъ своимъ многолюдствомъ—но это многолюдство само по себѣ, а я самъ по себѣ.

Одиночество еще гордое: міру нѣтъ дѣла до меня, и мнѣ нѣтъ дѣла до міра.

Но теперь не то. Сломился человѣкъ. Явилось чувство, точно весь міръ, кромѣ меня и этой дѣвушки—курсистки—пустыня. И такъ страшно было думать, что вотъ она уйдетъ, затеряется, а я буду бродить по пустынѣ и никогда, никогда съ ней не встрѣчусь!

Вотъ оно это дикое одиночество, когда человькъ чувствуетъ себя, что онъ на земль одинъ.

И припоминаю я, что эта курсистка прошла вмѣстѣ съ женой всю гимназію; и гимназія представлялась странно: ни преподавательскаго персонала, ни ученицъ,—онѣ только двѣ—сидѣли невѣдомо зачѣмъ въ одномъ какомъ-то зданіи много лѣтъ, а потомъ почему то разошлись.

И вотъ, жены уже нѣтъ. Я ее уже никогда не увижу. Никогда. Но вотъ эта дѣвушка еще здѣсь: безумно-дорогая только потому, что она змѣстѣ съ женой была въ гимназіи.

Курсистка быстро ходила по комнатѣ, потирая руки и говорила:

Ну и холодина. Такой холодина: до самого сердца промерзла.

А я, не отрывая отъ ея фигуры глазъ, слѣдилъ за ней и переживалъ моменты полные щемящаго и трепещущаго страха: казалось, что вотъ-вотъ она исчезнетъ.

Моментально.

И порывало молить:

— Знаете: я такъ усталъ. Такъ я усталъ. Не уходите отъ меня. Ради всего святого не уходите! Останьтесь здѣсь. Со мной останьтесь!

Потомъ курсистка спохватилась:

- Ахъ, да, чуть не забыла!

И тянула мнѣ рубль.

Я не понималъ.

- Это зачфмъ?
- Это вамъ жена вернула. Сказала, что она пока обойдется и безъ денегъ. А потомъ, у насъ есть «кружокъ землячества», я изъ него для нее немного достану.

Я молча взяль рубль, положиль его на столь и... мгновенно пришель въ себя.

— Какъ ваши успѣхи въ литературѣ?—спросила курсистка не столько изъ любопытства, сколько отъ неловкаго чувства при молчании.

Я холодно усмѣхнулся.

 Плохи. Мнѣ, вѣроятно, легче войдти въ пърствіе небесное, чѣмъ въ этотъ міръ.

Порывало сказать про эту литературу коечто и еще, но любилъ, любилъ я еще это болото и больно мнѣ было его порицать передъ мало знакомой мнѣ дѣвушкой.

И я ограничился тъмъ, что отмахнулся только рукой.

Курсистка столько, сколько изъ приличія слѣдуеть помолчать, помолчала и заявила:

- Да, кое-что на счетъ вашей жены. Докторъ сказалъ мнѣ, что она на него не произвела впечатлѣнія безнадежной.
- Не вѣрю, бросилъ я убѣжденно. Утѣшаетъ, или ошибается. Но мнѣ себя не обмануть: чувствую, что ея пѣсенка спѣта.
- Вотъ еще. Просто вы напуганы, а потому и смотрите такъ пессимистично.

А потомъ:

— Ну, до свиданья. Пора бѣжать.

Мнѣ хотѣлось уже просто сказать:

— Если надумаете заглянуть ко мнѣ въ свободное время—буду радъ.

Но я подавиль въ себѣ и эти слова. Молча простился. Падай человѣкъ одинъ! Если тебя раздавили—къ чему просьбы о маленькомъ сочувстви, какъ о милостынѣ?

По уходъ курсистки я вынулъ изъ стола кошелекъ: въ наличности 60 копъекъ. Долго смотрѣлъ на возвращенный женою рубль: и тотъ отнъла у себя и отдала мнѣ!

Вставалъ вопросъ:

— Что дѣлать?

Не черезъ мѣсяцъ, не черезъ недѣлю, не завтра—а вотъ сейчасъ: опять наростаютъ пустота, холодъ, безотчетность.

И какъ всегда—достаю пачку писемъ жены и жадно ухожу въ нихъ.

Страшно читать. Прошлое не забывалось и не забудется, но воскрешать его до мельчайшихъ подробностей?

Но не читать еще страшнѣе: немыслимо отдаваться въ полную власть внутренней пустоты. Лучше боль, чѣмъ она.

И я читаю. Наконецъ, дохожу въ одномъ изъ писемъ до такого письма.

«Дѣдъ. Ты падаешъ духомъ? Крѣпись, родной. Ты мнѣ писалъ—вотъ это твое письмо я тебѣ цѣликомъ и привожу. Можетъ быть, оно тебя и подбодритъ. Вотъ оно:

«Въ минуты, когда у тебя упадокъ духа и силъ, не отдавайся, родная, тому, отчего ты падаешь; то отчего ты падаешь—вѣдь уже ясно; къ чему думать о немъ? Не лучше ли вдуматься въ себя: какъ пережить это и во имя чего? Пойми: желѣзные характеры ломаются не оттого, что они сломлены, а оттого, что подъ

упадкомъ духа и силъ теряютъ изъ виду то, что надо преодолѣть. Если ни на минуту не будешь терять изъ виду этого-значить обрѣтешь въ себѣ силы. Какія? Ихъ, родная, въ человъкъ не одна. Ненависть—сила; презрѣніе— вдвое сильнѣе ненависти, а Любовь сильнее двухъ первычъ взятыхъ вмѣстѣ. Что тебѣ А, Б, В, Г, Д, и т. д., если ты любишь весь міръ? Два-три десятка людей подавали тебъ вмѣсто хлѣба камни и вмѣсто рыбы скорпіона--стоять ли эти десятки того, чтобы ради нихъ отказаться отъ Любви ко всему міру? Родная, въ немъ мало Любви! Если ужъ мы не боги-воздадимъ своимъ врагамъ той мѣрой, какой отмѣрили намъ, но не утратимъ Любви къміру. Презирай достойнаго презрѣнія, ненавидь достойнаго ненависти, если уже не можешь любить такихъ, но не забывай того, что въ мірѣ мало Любви. Внести въ него частицу своей любви, какая будеть по силамъ каждому человѣку-вотъ задача каждаго человѣка. Больно—сожми до боли зубы; падаешь—пытайся встать. Если раскрываютъ передъ тобою бездну презрѣнія и возводять на высоту ненависти-не бойся: смотри въ бездну презрѣнія и стой на высотъ ненависти и ищи въ себъ великихъ словъ Любви. Глубокихъ, какъ сама

Любовь, яркихъ, какъ зарево пожара, гулкихъ, какъ набатъ. И ради этой задачи—нѣтъ надеждъ: создай ихъ! Погасъ одинъ свѣтъ и темно-темно впереди — зажги другой! Будь, родная, бодра. Твой дѣдъ».

Когда я прочелъ, когда то написанныя мной строки, я на моментъ было загорѣлся:

— Ха, ха, ха, «Братья-писатели!» Шель я къ нимъ робко, благоговѣйно: показали мнѣ журавлей въ небѣ, а я вообразилъ, что «у братьевъписателей» они и въ рукахъ имѣются. Оказалось не то. Ошибся жестоко. Пришелъ, посмотрѣлъ и убѣдился: куда имъ до Журавлей—сами-то безъ Синицы въ рукахъ живутъ. Но за то узналъ, что у нихъ есть нѣчто другое: Великое Безразличіе. Вотъ оно обманываетъ читателя и братьевъ писателей: читателю кажетъ журавля въ небѣ, а писателю не даетъ и Синицы въ руки. Нѣтъ, не сдамся. До конца не сдамся!

Но прошелъ этотъ моментъ—взглянулъ я на кучу своихъ рукописей—и погасъ; меня подавило чувство, точно я былъ въ положеніи человѣка, котораго поставили передъ Альпами и требовали:

«Сдвинь горы!»

Давило безсиліе. Ибо отняли большую силу въ лицѣ маленькой женщины: скоро гизсякнетъ источникъ, откуда я пилъ Живую Воду. Изсякнетъ онъ, что въ жизни останется: меркнетъ

любовь къ міру, теменъ и страшенъ весь міръ— яснь въ немъ только два человѣка. (Разумѣю публициста Б. и писателя З.). Но развѣ я уже не напуганъ? Развѣ, когда иду къ З. не испытываю мучительнаго страха: а вдругъ и этотъ отшатнется? Развѣ не знаю тяжести: тянетъ взглянуть только на дорогое лицо—и не идешь: а вдругъ вообразитъ, что я опять со своими горестями, и я это замѣчу? Замѣчу—и это значитъ: похоронить послѣднее. Вотъ Б. тянетъ посмотрѣть и на него—и не иду, ибо боюсь похорочить и этого.

Я легъ на свое ложе съ торчащей, острой пружиной и закрылъ глаза: немыслимо казалось жить не только послѣ жены, но и дотянуть до ея конца. «Немыслимо»—это только казалось, а въ глубинѣ души—это я уже твердо чувствовалъ, что до конца жены я дотяну. Буду день голодать, день жить на фунтъ чернаго хлѣба, буду ютиться не въ подвальной комнатѣ, а гдѣ нибудь въ углу за два-три рубля въ мѣсяцъ— но до конца жены дотяну.

Потомъ я уже ни о чемъ не думалъ. Лежалъ и ничего не хотѣлъ, кромѣ тишины; глубокой, ничѣмъ ненарушимой тишины.

Въ подвалѣ была тишина. Но этой тишины было мало и всѣмъ существомъ своимъ я молилъ: «Тишины. Полной тишины!»

Но такая тишина не приходила, да и не могла придти, ибо жаждалъ я невозможнаго:

глубокой, ничѣмъ даже внутренно ненарушимой тилины.

Тогда я хотъль другого.

Воздухъ моей комнаты давилъ меня; выйдти на улицу—тоже самое. Весь міръ душенъ, кромѣ одной атмосферы: безумно соблазнительная сила чудилась въ пьяномъ угарѣ грязныхъ кабаковъ, въ тайныхъ притонахъ, въ домахъ терпимости.

Казалось, что только въ такихъ мѣстахъ я забудусь, найду забвеніе всему, отъ чего непосильно жить *).

На дворѣ наступили легкія сумерки, а у меня уже вечерѣло. А я все лежалъ, лежалъ съ закрытыми глазами и думалъ о томъ; у кого бы достать денегъ на то, чтобы хоть пока ночь, ночь пожить въ нужной атмосферъ.

Чтобы хоть провърить себя: полегчаеть-ли тамъ, или нътъ?

У кого?

Вставали Б. и З. И впервые, какъ другіе люди, отощли и они. За что я люблю? И тотъ и другой знали о моемъ положеніи съ больной женой въ подвалѣ—и помогли-ли. Заглянули-ли? Сказали-ли хоть одно слово настоящаго человъческаго сочувствія? Нѣтъ. Мой ужасъ отъ нихъ былъ далекъ, ибо я имъ чужой. Какова же моя любовь къ человѣку? Мнѣ

^{*)} Братья-писатели, въ иашей сульбѣ, Чтс-то лежитъ роковое...

Хорошь рокъ?!

иногда кинутъ маленькую милостыню и, если мнѣ кинутъ ее безъ косого взгляда—я ставлю человѣка неизмѣримо выше, чѣмъ его слѣдовало бы поставить.

Я гордо вынесъ ужасъ: ни одинъ изъ этихъ любимыхъ людей не услышалъ отъ меня жалкой жалобы, какъ я падалъ отъ ужаса. Ни одинъ. И ни одинъ не далъ мнѣ почувствовать, что они чувстуютъ мой ужасъ, ибо я имъ чужой.

Этотъ родъ моихъ размышленій нарушилъ приходъ одной дамы.

Полная, упитанная до того, что я удивился какъ она могла пролѣзть «въ лазъ» ко мнѣ, богато одѣтая, красивая—она явилась ко мнѣ, какъ сказочная фея *).

Явилась она собственно спасать жену: услышала отъ кого-то изъ курсистокъ; явилась и сразу наобъщала всяческихъ благъ. Жалѣла, что жену отправили въ неважную больницу, она устроила бы поддержку и леченіе въ домашней обстановкъ. Просила меня не унывать: она выручитъ меня и жену. Тонъ таковъ, что на благотворительность она разсчитываетъ большими средствами.

И когда она уходила, я... вяло поблагодарилъ. Мнѣ ли вѣрить въ благія обѣщанія?

^{*)} Эта дама въ дальнѣйшей моей жизни сыграла немалую роль; наименованіе «феи» по ея тактикъ къ ней очень подходяще и это наименованіе я оставлю за ней и впредь.

Вслѣдъ за ней... изъ редакціи прислали 25 рублей.

Кто-то поздно соблаговолилъ пожертвовать.

И въ первый моментъ я за эти деньги ухватился, чтобы пожить на нихъ въ туманящей мнѣ голову атмосферѣ.

Но припомнился рубль присланный женой, припомнился и далъ миѣ понять, что пока жива эта женщина, я по такой наклонной плоскости при ней не покачусь.

Что будеть послѣ ея смерти—это время покажеть, а пока... дни скорби, дни святой скорби для меня!

Р. S. Читатель. До смерти жены проходять еще нѣсколько лицъ связанныхъ съ моею судьбою и съ судьбою жены, но я нарушаю послѣдовательность своихъ записокъ: эти лица пройдутъ впереди.

О смерти жены я кратко выскажусь и сколько преждевременно, ибо мн тяжело заносить въ эту книгу такъ много людского безсердечія, изд вательства.

Жена умерла черезъ мѣсяцъ.

Больничная обстановка была для нея легче подвала. Съ первыхъ же дней въ больницѣ она начала питать надежду, что она выживетъ, подбодряла меня, но за недѣлю до смерти пришла къ заключенію, что все для нее кончено.

Просто и спокойно сказала мнъ:

Дѣдъ, не хочу жить: умирать хочу. И чѣмъ ни скорѣе—тѣмълучше. Еслибы даже и допустить, что я могу поправиться—на это нужны большія средства и года три четыре времени. Года тричетыре—и киснуть такъ? Нѣтъ, если сломлено твое оружіе — здоровье, значитъ сдавайся: умирай!

Помодчала и съ тихимъ свътомъ въ глазахъ:

— Надю все во снѣ вижу. Милый нашъ ребенокъ!

Я заплакалъ.

Я никогда не плакавшій отъ ужаса жизни—плакаль отъ величія духа.

Она меня попыталась остановить — *строго* сказала:

— Дѣдъ, не мучай меня.

Но я не могъ не мучить. Ея свътлое лицо мутилось сграданіемъ—мои слезы поднимали въ ней то, съ чъмъ она уже нашла силу примириться, съ тъмъ, что я останусь безъ нее одинъ,— и умоляюще меня просила:

Не мучай меня. Родной, прошу тебя: не мучай.

Но я не могъ не мучить. Я неудержимо плакалъ отъ величія духа. Оттого, чего такъ мало въ жизни.

к-во "Современныя проблемы".

Москва, Садовники, д. 16. Тел. 177-14.

I. Отдълъ научный и научно-общественный.

К. Валишевскій. Иванъ Грозный. Большой роскошно нзданный томъ. Ц. 3 р. въ полукожан. перепл. 4 р.

Д-ръ Н. Котикъ. Непосредственная передача мыслей. Экспериментальное изследованіе. Цена 1 руб. Поразительные выводы автора открывають новые, въ

настоящее время почти необозримые горизонты.

März, № 14, 1909 (Dr. Bergmann).

Проф. Зигмундъ Фрейдъ. Психопатологія обы-

Денной жизни. Содержаніе: Забываніе собственныхъ именъ. Забываніе иностранныхъ словъ. Забываніе именъ и словосочетаній. Овоспоминаніяхъдьтства по воспоминанія ъ., служащихъ прикрытіємъ. Обмолвки. Очитки и описки. Забываніе впечативній и намъреній. Двйствія, совершаємыя по ошибкв. Симптоматическія и случайныя двйствія. Ошибки. Комбинированныя дефектныя двйствія. Детерминизмъ. Ітра въ случайности и суевврія. Общее замъчаніе. Цвна 1 руб.

Проф. Эристъ Махъ. Принципъ сохраненія энер-

гіи. Цѣна 30 к.

Проф. Максъ Ферворнъ. Естествознание и міросозерцаніе.—Проблема жизни (Двѣ лекціи). Ц. 50 к.

Его-же. Вопросъ о границахъ познанія. Цѣна 30 к. Достоинство брошюры-въ большомъ мастерствъ популярнаго изложенія. (Р. Вѣд. 1909 г. №).

Проф. Оппенсеймъ. Воспитание и нервныя страданія дѣтей. Ц. 30 к.

Докладъ заслуживаетъ широкаго вниманія интеллигентныхт родителей. (Д-ръ Капланъ). Марія Лишневская. Половое воспитаніе дітей.

2-е изд. Ц. 30 к.

Брошюра Маріи Лишневской можеть сослужить всему человъчеству громадную пользу. (Утро Россіи).

Эллень Кей. Мать и дитя. Цена 30 коп.

Небольшую работу Элленъ Кей мы горячо рекомендуемъ вниманію нашихъ читателей. Брошюра написана сжато, конспективно, но очень живо и ярко. Переводъ сдѣланъ хорошимъ, вполнѣ литературнымъ языкомъ.

(Рѣчь, 13 окт. 1908 г.).

Проф. Паоло Мантегацца. Современныя женщины. 2-е изд. Цѣна 1 руб.

П. Мюллеръ. Новъйшая гигіена (распрод.).